
Ледяная
королева
Элис Хоффман
Общий тираж книг — б
50 миллионов экземп

Ледяная королева
Элис Хоффман

Аннотация
Элис Хоффман. Ледяная королева
ГЛАВА 1. СНЕГ
I
II
ГЛАВА 2. СВЕТ
I
II
ГЛАВА 3. ОГОНЬ
I
II
ГЛАВА 4. ИСТИНА
I
II
ГЛАВА 5. ЗОЛОТО
I
II
ГЛАВА 6. НАДЕЖДА
I
II
ГЛАВА 7. БРАТ И СЕСТРА
I

II

Аннотация

Однажды снежной ночью одна маленькая девочка высказала вслух свое желание, и оно исполнилось. Желание было жестоким, и это изменило всю ее жизнь. Она выросла с льдинкой вместо сердца и с твердым убеждением, что с желаниями нужно быть поосторожнее и никогда не произносить их вслух, а не то они исполняются, и еще неизвестно, к добру ли это. Как-то раз она стояла у окна во время грозы, и в нее ударила молния. Но не убила, а опять круто переменила ее жизнь. Однако удалось ли молнии растопить льдинку в сердце?

Элис Хоффман — признанный мастер тонкого психологического романа. Общий тираж ее книг составляет более 50 миллионов экземпляров. Роман «Практическая магия» экранизирован (в главных ролях — Николь Кидман и Сандра Баллок).

Элис Хоффман
Ледяная королева

ГЛАВА 1
СНЕГ

I

С желаниями нужно быть поосторожнее. Я это знаю точно. Они жестоки и безжалостны. Обжигают язык, когда ты их озвучиваешь, и сказанного уже не воротишь. Потом твои желания терзают тебя, преследуют. Я за свою жизнь высказала их чересчур много. Первое — когда мне было восемь лет. И пожелала я тогда не мороженое, не красивое платье, не чтобы у меня были длинные светлые волосы, нет. Первое мое желание оказалось из тех, от которых дрожь берет, которые сидят в горле, как прожорливая красная жаба, и душат тебя, пока не выскажешь их вслух. А потом вся жизнь твоя в одно мгновение меняется, так что даже не успеваешь пожелать, чтобы все стало как было.

Да, я оказалась не в то время не в том месте, но разве не так начинаются все истории? Приходит в город какой-то человек, а там случается драка. Или жених в день свадьбы сваливается со скалы. Или женщина подходит к окну, а там вдруг пуля, или осколок стекла, или сосулька, прозрачно-голубоватая обыкновенная сосулька пронзает ей грудь. Мне было всего восемь лет, и

я топнула ножкой и произнесла вслух одно-единственное свое желание, и весь мир рухнул. Во всяком случае, мой. Но только он один у меня и был. Разумеется, я была эгоисткой, но разве не все восьмилетние девочки — или как минимум большинство из них — считают себя центром вселенной? Разве не верят они искренне, что им должны повиноваться все воды морские и звезды небесные? А также ветры и ураганы. Когда ночью я закрывала глаза, мне казалось, что все в мире засыпают вместе со мной. Я была уверена, что имею право брать от жизни все, что мне нужно. А также — что я заслуживаю всего, что мне нужно.

Я произнесла то свое желание в январе, в самый холодный месяц, когда дом у нас совсем выстыл, а счет за отопление лежал неоплаченный. Произошло это шестнадцатого числа, в день рождения моей матери. Отца у нас с братом не было. Он сбежал, оставив нам в наследство темный цвет глаз и ничего больше. Мы с Недом целиком и полностью сидели на шее у матери. Нам, и в особенности мне, не приходило в голову, что ей нужно было еще что-то, что у нее могла быть какая-то жизнь, где не было места для нас. Я дулась, даже если что-то ее отвлекало: счета, которые нужно разобрать, дела, которые нужно передe-

лать, тарелки, которые нужно перемыть, и горы белья, которые нужно отволочь в прачечную. Конца им всем, этим делам, не было. И переделать их все было невозможно. В тот самый вечер мама собралась отметить свой день рождения в компании вместе с двумя подругами. Мне не нравилась ни одна, не понравилась и их нелепая затея пойти в ресторанчик под названием «Синяя птица», шумную забегаловку, которую у нас в городке любили за то, что там подавали сэндвичи с ростбифом и картошку фри с подливкой. На себя в тот день у мамы было всего несколько часов. Так вот скромно она собралась провести день рождения.

Я об этом не думала.

Может быть, я пошла в отца, унаследовав вместе с цветом глаз и его эгоизм. Так или иначе, я хотела, чтобы вечером она осталась дома и заплела мне волосы, которые у меня были длинные, до самого пояса. Если их не заплести, то, распущенные, они могли спутаться ночью. К тому же тогда брат сказал, что у нас на чердаке есть летучие мыши. И я испугалась, что ночью они залетят ко мне в комнату и устроят гнездо в волосах. Я не хотела оставаться с ним дома одна, потому что он не обращал на меня внимания и больше ин-

тересовался учебниками, чем живым человеком. Мы с ним ссорились по любому поводу, включая последнюю на тарелке печенину, которую часто хватали одновременно. «Пусти! Я первый!» И что бы там ни оставалось, что бы мы ни делили, оно частенько рассыпалось у нас в руках. У Неда не было времени утешать меня, когда я начинала плакать; а чтобы он мне почитал книжку, нужно было его еще уломать. «Я сделаю за тебя, что велела мама. Я отдам тебе завтрачные деньги. Только, пожалуйста, почитай».

Мама не слушала моего нытья. Она была занята. Она торопилась, Она надела плащ и голубой шарф. Волосы у нее были светлые. Она сама их стригла, изворачиваясь перед зеркалом, чтобы увидеть затылок. У нее не было денег на парикмахерскую, но она все равно была красивая. Мы не говорили про свою бедность, никогда не обсуждали, чего у нас нет. Мы ели макароны три раза в неделю и — хочешь не хочешь — ложились спать в свитерах. Понимала ли я тогда, что в тот вечер моей матери исполнялось всего тридцать лет, что она молода, красива и у нее в кои-то веки хорошее настроение? Для меня она была просто мама. Ни больше ни меньше. Я не признавала ничего в ее жизни, что не касалось меня.

Когда она вышла, я бросилась за ней следом. Я выскочила босиком на крыльцо, и ноги у меня тут же замерзли. По нашей зеленой рифленой крыше колотил ледяной дождь. Стоял грохот, будто шла стрельба. Капли, едва коснувшись деревянного крыльца, мгновенно превращались в ледышки, и крыльцо стало будто стеклянное. Я умоляла ее остаться дома. Я, королева мироздания. Девочка, которая думала только о себе. Теперь-то мне известно, что самые изощренные аргументы находятся именно в оправдание глупостей. Мгновение, которое вдруг изменяет жизнь, невидимо и неощутимо; оно растворено во времени, будто сахар в воде. Но попробуйте объяснить все это восьмилетней девочке или любому другому ребенку, и посмотрим, поверят ли вам.

Когда мать сказала, что Бетси с Амандой ее уже ждут, что она и так опоздала, вот тогда я произнесла вслух свое желание. Я сразу почувствовала, что эти слова обожгли рот. Почувствовала их горечь, но не остановилась. Я договорила их все до конца, сказала, что не хочу ее больше видеть, никогда. Сказала в лицо. Что хочу, чтобы ее больше не было, чтоб она пропала, тут же, прямо на этом месте.

Мама рассмеялась и поцеловала меня на про-

щание. Губы у нее были холодные, дыхание чистое. Лицо было белое, будто снег. Она сказала мне шепотом что-то еще, но я не стала слушать. Я хотела только одного: чтобы желание исполнилось. Я не думала ни о ком, только о себе.

Мама села в машину, и та не сразу завелась, так что пришлось несколько раз нажать на акселератор. В воздухе повисли выхлопы. Мотор ревел, и навес в нашем внутреннем дворике вибрировал от его рева. Мне стало горько. Самым странным мне показалось то, что, когда я пожелала, чтоб она пропала, мне от этого сделалось больно.

— Иди в дом, идиотка, — крикнул брат. — Единственное, чего ты добьешься, так это отморозишь себе задницу.

Нед у нас был умный. Он был старше меня на четыре года и все знал про созвездия, про красных муравьев, про летучих мышей и про беспозвоночных. Он не раз мне говорил, что на эмоции жалко тратить время. Мне не нравилось его слушать, особенно когда он был прав, так что в тот вечер я ему не ответила. Он крикнул из комнаты, что почитает мне, хоть сказку — а сказки он презирал. Так что услышать от него такое предложение было странно, немыслимо, нелогично. Но и этого оказалось мало, чтобы я вернулась в дом. Я не

могла оторвать глаз от пустой улицы. И вскоре брат бросил меня уговаривать. А кто бы не бросил? Ноги у меня посинели и заболели, но я все равно торчала на крыльце. До тех пор, пока во рту не перестало жечь. Тогда я наконец вошла в дом, но встала возле окна и смотрела не отрываясь, и даже Нед подошел поинтересоваться, на что я уставилась, но там ничего не было. Только снег.

Моя мать разбилась на боковой дороге, не доехав до хайвея. В полицейском рапорте написали, что виноваты гололед и лысая резина, которую давно следовало сменить. Но мы жили бедно, я уже говорила об этом. Мы не могли себе позволить новые шины. Мать опаздывала сначала на полчаса, потом на час, а потом ее подруга Бетти позвонила в полицию. На следующее утро к нам приехала бабушка, и я в первый раз в жизни сама заплела себе косу и тут же отрезала ее садовыми ножницами. Косу я бросила летучим мышам. Мне было на нее наплевать. Я подумала, что, наверное, брат прав. Не нужно ничего чувствовать. Не нужно даже пробовать чувствовать.

После похорон мы с Недом переехали жить к бабушке. Все свои вещи мы взять с собой не могли, и брат оставил дома колонию красных муравьев, а я все игрушки. Я стала слишком

взрослой, чтобы в них играть. То, что я сделала со своей головой, бабушка назвала «садовой стрижкой», но вот как бы она назвала то, что я сделала с мамой? Можно было бы догадаться, но я не хотела об этом думать. Бабушка у нас была слишком добрая, чтобы открывать ей глаза на то, кого она приютила под своей крышей. Я убила маму словами и возненавидела слова. И быстро научилась держать язык за зубами.

По ночам я мысленно, беззвучно рассказывала себе одну и ту же историю, которую тогда любила больше, чем все свои книжки. История была про девочку, к которой все были жестоки — и судьба, и семья, и даже погода. Эта девочка в кровь разбила свои босые ножки, ступая по каменистым тропинкам, а вороны когтями растрепали ей волосы. Девочка ходила от дома к дому и просилась на ночлег. Она стучалась во все двери, но никто из соседей ей не открыл, и в конце концов девочка перестала разговаривать. Она поселилась одна на склоне горы, где каждый день шел снег. Она жила там под открытым небом, потому что не было у нее ни крыши над головой, ни стен, чтобы укрыться от ветра, и вскоре она заледенела насквозь: ее тело, кости и кровь — все стало ледяное. Теперь она походила на бриллиант, и

сверкание ее было видно издалека. Она стала такой прекрасной, что сразу у всех появилась в ней нужда: люди приходили к ней, только чтобы поговорить, но она никому не отвечала. Вороны садились к ней на плечи, а она их не прогоняла. Зачем ей было их гнать? Если бы ворона только попробовала клюнуть ее хоть разок, клюв бы раскололся, будто о камень. Никто теперь не мог сделать ей больно. Вскоре ее трудно уже было различить на фоне белого снега, эту королеву льда. Она научилась слушать ледяное безмолвие, а сердце у нее приобрело цвет чистого серебра. И сделалось таким крепким, что его теперь нельзя было разбить. Даже камнем.

— Физиологически исключено, — сказал мой брат, когда я однажды решилась рассказать ему свою сказку. — При постоянно низких температурах сердце на самом деле замерзло бы, а потом растрескалось. А потом растаяло бы от собственной крови, потому что кровь остыть не может.

Больше я с ним таких вещей не обсуждала.

Я усвоила свою новую роль. В школе я была тихой девочкой, отличной подружкой, всегда и во всем на вторых ролях. Я не желала привлекать к себе лишнего внимания. Не стремилась быть первой. Кроме того, я себе запретила определенный

набор слов; я не могла заставить себя произнести их вслух: «любовь», «потеря» или «утрата» — от них мне в буквальном смысле делалось дурно, и в конце концов я отказалась от них. Однако внучкой я оказалась хорошей: я была быстрая и послушная и стала бабушкиной любимицей. Чем больше она мне давала заданий, тем меньше оставалось времени на мысли. Я подметала, стирала, допоздна засиживалась над уроками. В школе, к концу последнего класса, одноклассники доверяли мне свои секреты, и я умела слушать. Я готова была поддержать и помочь, особенно подруг, особенно в старших классах и особенно когда речь шла о бойфрендах. А бойфренды — не все, конечно, — время от времени со мной спали, во-первых, в благодарность за совет, который помог им разрешить любовную драму, а во-вторых, просто так, заодно, чтобы не упустить случая затащить в постель девушку, ничего за это не требующую.

Брат мой уехал сначала в Гарвард, потом в Корнелл, где защищал диссертацию: он стал метеорологом — идеальный выбор для человека, который желал с помощью логики объяснить весь наш нелогичный мир. Потом ему предложили место во Флориде, в Орловском университете,

а через короткое время он стал там профессором и женился на математичке по имени Нина, которую обожал за рациональность мышления и за прекрасный цвет лица. Что до меня, то я выбрала себе специальность, неотъемлемой частью которой была тишина. Учиться же своим библиотечным наукам я решила, не уезжая далеко от дома: сначала в нашем провинциальном университете (так что между мной и бабушкой было всего несколько миль и несколько крохотных городков), а потом в Сити-колледже. Брат посмеивался надо мной за то, что я называла это наукой, но я серьезно относилась к своему делу. Потом я получила работу библиографа, и снова ко мне, как в школьные времена, стали идти за помощью, а я снова давала советы. В библиотеке я подружилась с напарницей, добросовестной девушкой, которая собирала у нас деньги к свадьбам и крестинам. Потом она переехала на Гавайи, а перед отъездом оставила мне свою кошку Гизеллу, хотя у меня на кошек была аллергия.

В той моей жизни была и другая часть. Та, где была настоящая я. Я, которая помнила ледяной дождь, каждую его каплю. Я, которой по ночам снилось серебряное заледеневшее сердце. Я, которая все знала про смерть. Я знала тысячу

способов, как расстаться с жизнью; у меня, как у всякого знатока, были свои предпочтения: укус пчелы, смертельная инъекция и электрошок. Все они у меня были классифицированы, хотя кое-какие из категорий оставались неполными, к ним относились: категория смертей от несчастного случая, смертей по договору, смертей во избежание будущего, смертей как отмены прошлого. Сомневаюсь, что в библиотеке кто-нибудь, кроме меня, знал, что трупное окоченение длится около четырех часов. Или что нагретый мышьяк пахнет чесноком. Ко мне за информацией об инфекциях, ядах и способах самоубийства обращался даже капитан городской полиции Джек Лайонс, который в школе учился в одном классе с моим братом. И который, как и мой брат, мне доверял.

Однажды взявшись классифицировать смертельные случаи, я увлеклась и уже не могла остановиться. Видимо, это и было мое призвание или даже страсть. Я порой заказывала учебник по медицине и по энтомологии, запрашивала по межбиблиотечному абонементу «Пособие для фармацевтов» Мерка — и все, только чтобы выяснить по запросу от Джека Лайонса, каково действие определенного токсина. А моей настольной книгой стало практическое руководство «Сто

способов покончить с жизнью», изданное для смертельно больных людей, которые и хотели бы ускорить свой уход, но не знают как. Время от времени я спрашивала у Джека, не знает ли он какого-нибудь специалиста, у которого я могла бы проконсультироваться по этим вопросам, но Джек неизменно отвечал:

— Лучше тебя все равно никто этого не знает. Однозначно.

Я с ним не соглашалась. Я говорила мало, но свое мнение имела, и, когда, например, у меня спрашивали, чьи сказки выбрать для восьмилетнего мальчика — Андерсена или братьев Гримм, я всегда советовала братьев. Там было про труп, закопанный под можжевельником, про мальчишку, настолько же глупого, насколько и храброго, чтобы усесться играть в карты со Смертью, про мерзких сестриц, которые по собственной вине, из-за собственного отвратительного характера загнали себя в тупик, а потом одни вешались, а другие бились головой о стену. Несколько раз разгневанные мамаши и учителя, которым потом долго приходилось выбивать у детей из головы то, что засело там по моей рекомендации, писали на меня жалобы. Но мое мнение оставалось при мне. Мир Андер-

сена был полок персонажей добродетельных и целомудренных. А я предпочитала читать про эгоистичных девиц, которые шли в лес и теряли дорогу, а потом ломились сквозь кусты напролом, и про их братьев, которые по неосторожности и легкомыслию вдруг превращались в осла или в лебедя, а потом этого, например, лебедя кусали блохи, так что перья были в крови. Я не верила в заслуженные воздаяния. Не верила в рациональный, благоустроенный мир, существование которого легко и удобно объяснить искусственной логикой. Не верила ни в секторные, ни в векторные диаграммы, которыми ученые описывают род людской, отделяя плохих от хороших, и в которых *до того* и *после того* прямо противоположны друг другу.

Вечером, когда я шла после работы домой, а ветер гнал передо мной листья и весь Нью-Джерси был погружен в тишину и вечерний сумрак, я не удивилась бы, даже вдруг увидев, например, человека со сложенными за спиной крыльями на ступеньках городской ратуши или голодного волка на углу Пятой и Мейн-стрит. В конце концов, кому, как не мне, было знать, что такое сила истинного желания. Невидимое, неизбежное, оно по воздействию подобно движению бабочки,

которая вдруг взмахнет крылышками где-то по ту сторону земного шара, и все изменится — все, включая погоду. В основе теории хаоса, как объяснял мне когда-то брат, лежит одна теорема, согласно которой любое, самое малозначительное действие одного объекта способно влиять на другой объект, вне зависимости от дальности расстояния между ними. Брат мог называть это как угодно, у меня это называлось судьбой.

Впрочем, я тогда об этом еще не знала. Прошло тринадцать, а потом и пятнадцать лет, а я все так же работала в библиотеке. Ходила я с той же стрижкой «под эльфа», какую соорудила себе в восьмилетнем возрасте, она стала у меня чем-то вроде «товарного знака». И люди ждали от меня все того же: помощи без вопросов и облегчения жизни. Никому в голову не приходило подумать, а кто я-то такая? Иногда я, так сказать, встречалась с Джеком Лайонсом. Он звонил мне на работу, что-нибудь спрашивал, а потом позже, вечером, ждал меня на библиотечной парковке. *Этим* мы занимались в машине. Торопливо, пугаясь каждой теки, как ненормальные. Но риск был у нас в крови. И время мы выбирали, когда вот-вот должен был подъехать кто-нибудь из начальства или когда валил снег и возле маши-

ны успевало намести сугроб фута в три. Видимо, подсознательно я хотела, чтобы нас кто-нибудь застукал, но этого не произошло. Когда мы с Джеком были вдвоем, все будто вымирали и мы оставались одни во всем мире. Джек знал, что я не люблю слов, и это была чистая правда, я их не любила, но потому, что не доверяла себе, и только себе. Всем остальным доверяла. Зато Джек мог болтать без умолку. Мог, например, ляпнуть, что любит меня, хотя, разумеется, ни о какой любви не шло и речи, но это было неважно. Важно было другое. Что была девушка, чье сердце заковано в ледяную броню, которая смотрела на свои горы. В тех горах всегда царила холодная тишина, настолько холодная и прозрачная, что там не обо что было уколоться. В те времена мне казалось, что дальше, за этими горами, ничего нет, во всяком случае, ничего такого, ради чего имело бы смысл сделать хотя бы шаг.

Каждый раз Джек после свидания позволял мне уйти и никогда не просил разрешения подвезти до дома. Видимо, он понимал меня лучше, чем все остальные. Видимо, знал, что я не заслуживала ни доброго отношения, ни преданности, ни счастья. Но однажды он привез маргаритки — букет был привядший, купленный на лотке по

пути в библиотеку, но все равно это были цветы. И это был конец. Джек все испортил. Он привез цветы — как будто мы перестали быть друг другу чужими, как будто нас связывало теперь нечто большее, чем обычный секс и любопытство, замешанное на смерти; и все было кончено. Я поняла, что он может и впрямь ко мне привязаться, и прекратила встречи.

Без него событий в моей жизни не стало окончательно. А вскоре слегла бабушка, и я переселилась к ней, чтобы проще было ухаживать за ней. Мой брат жил во Флориде и был слишком занят своей жизнью, а у меня ее все равно не было, а были только работа в библиотеке и одинокие вечерние прогулки. Бабушка любила меня искренне, всей душой, хотя я могла отблагодарить ее за это лишь куриным бульоном, тостами с маслом, бесконечными чашками «английского утреннего чая» с медом и лимоном и бесконечными книгами из библиотеки. Книги у нас тогда лежали по всему дому: в кухне, под кроватями, за валиками дивана — слишком много книг для одного человека. Наверное, мне казалось, что, пока ей будет интересно жить, она не умрет; она решит задержаться, чтобы дочитать книгу, потому что читать она обожала. «Хочу добраться здесь до

глубины», — говорила она про очередной роман, как будто речь шла об озере или пруде. И мне казалось, что так будет всегда, однако номер не удался.

— Ты должна радоваться жизни, — сказала мне бабушка однажды вечером, когда я помогала ей пить чай.

Самой ей было уже трудно даже держать чашку. Она пила чай крохотными глотками, будто птичка. Я поддерживала ей голову, а волосы у нее пахли лимоном и пылью. Мне хотелось плакать, хотя я забыла, что такое слезы. Умение плакать отличается от умения ездить на велосипеде — стоит не потренироваться какое-то время, и тут же забываешь, как это делается. Потом можешь сколько угодно кривляться перед зеркалом, резать лук, смотреть душещипательные киношки. Не помогает.

В тот вечер бабушкины слова застигли меня врасплох. Я-то думала, что она одна на всем свете понимает, что я давным-давно выбыла из игры. Я не заслуживаю радости жизни. Неужели даже моя единственная драгоценная родная душа, бабушка, тоже этого не понимала? К тому времени я прожила на свете лет больше, чем было моей матери, когда холодным вечером она отправи-

лась в ресторанчик, где ее ждали подруги. Кто я такая, чтобы мне было дозволено радоваться?

— Ты видишь в жизни один только негатив, — продолжала бабушка.

— Весь позитивный семейный генофонд достался тебе, — ответила я.

Но она меня удивила. Учитывая состояние ее дел, учитывая состояние дел в мире.

Перед концом, измученная болезнью, перестала радоваться жизни даже бабушка. Она стала плакать во сне. Это было невыносимо. Я оставляла присматривать за ней кошку, которая досталась мне по наследству, и та лежала, свернувшись клубком на функциональной кровати, взятой в больнице напрокат, а я сама выходила на крыльцо глотнуть свежего воздуха. В воздухе чувствовался привкус соли. Была весна, и сосновая пыльца летала повсюду; одежда от нее была желтой, будто покрытая серной пылью. В ту ночь я пожелала, чтобы жизнь моя изменилась и я начала бы ее заново, все равно где, в Париже или в Лондоне. Или в Италии, или хоть в Нью-Йорке, где я училась в старших классах. Сменить кожу, уйти и не оглядываться. Я тогда не знала, как начинают новую жизнь. Все мои знания ограничивались смертью, и не успела я понять, что

делаю, как пожелала, чтобы бабушкины страдания закончились. Пожелала, чтобы мир этот выпустил ее из своих лап.

Потом я уснула на диванчике, а она умерла. Рядом с ней оставалась кошка, которая разбудила меня своим мяуканьем, и я сразу поняла, что случилось. Нед мог приехать в Нью-Джерси только через несколько дней, потому что в Орловском университете шла сессионная неделя, и пришлось отложить похороны. Он увидел, что мои дела плохи, едва только вошел в комнату. Я была похожа на птичку, которую выпустили на свободу из клетки, а она не умела летать и была в состоянии лишь вспорхнуть на подоконник. Всю свою жизнь в душе я лелеяла планы побега из Нью-Джерси, а теперь не могла себя заставить даже переступить порог гостиной. Я почти ничего не ела, кроме разве что кукурузных хлопьев с молоком. Перестала мыться, и от меня, как от всякой заброшенной развалины, исходил слабый запах плесени. В библиотеку мне пришлось съездить — чтобы сказать, что я не вернусь. Все огорчились. Джек прислал милую записку на полицейском бланке, где сообщал, что соскучился по мне больше, чем сам ожидал, и надеется, что я вернусь. Только я и не думала возвращаться. Мне

не хотелось переодеваться и не нужны были ни библиографические изыскания, ни автосекс с чужим человеком, который был мне безразличен. Порой я с утра до вечера так и просиживала в халате. У меня не было сил умываться, смотреть в зеркало, открывать дверь, выходить из дома.

С братом мы много лет не разговаривали по-настоящему, оба слишком занятые и жившие далеко друг от друга. Но после похорон бабушки он сел рядом со мной на диванчик. У него, как и у меня, была аллергия на кошек, и скоро из-за Гизеллы и у него глаза заслезились.

— Так нельзя, — сказал Нед. — Тебе нельзя здесь оставаться.

В его словах была логика. Как будто логика имела значение. Точно так же, как и в прошлый раз. Я вспомнила утро в день смерти матери; бабушка тогда еще не приехала, я проснулась и пошла, как была в пижаме, в кухню, где увидела Неда. Наверное, он успел умыться. Вид у него был опрятный даже тогда. «Еще рано, — сказал тогда Нед, — иди ложись». И я пошла и легла. Два дня спустя мы с ним сидели на складных стульчиках возле свежей могилы. Кроме нас пришли несколько подруг матери; они были все в черном. Нед был тоже одет в черный костюм, взятый, наверное,

напрокат. Раньше я этого костюма не видела. Сама я надела темно-синее платье; оно было с кружевным воротником, но я его отрезала теми же ножницами, какими отрезала косу. Гроб был простой, сосновый, закрытый. Но я к тому времени прочла уже достаточно сказок и точно знала, что иногда мертвые только кажутся мертвыми. Вдруг мама тоже просто уснула, заколдованная злой феей, тогда она могла в любую минуту проснуться и закричать: «Выпустите меня!» Могла в любую минуту. Небо было серое, земля промерзшая. А потом я увидела, что Нед плачет. Он плакал тихо. Совсем беззвучно. Раньше я никогда не видела, как он плачет, и потому быстро отвела глаза. И заметила то, чего не видела раньше. Гроб был забит. «Последний гвоздь вбит»[1].

На бабушкиных похоронах мы с Недом были вдвоем. Ее хоронили на том же кладбище, в таком же сосновом ящике. На могилу к маме мы никогда не ходили и так и не поставили там надгробия. Я была этому рада. Я не хотела знать, где она лежит. А вдруг она и не лежит там вовсе. А вдруг я все это время зря думала, что она мертвая, а она взяла и выбралась из могилы в ту самую секунду, когда

---

[1] Примечания: 1

Цитата из песни «Over and Done» группы «American Music Club».

мы вышли за кладбищенскую ограду, и сбежала, исчезнув в холодной темноте. Прошло больше двадцати лет, но я поискала глазами мамины следы. Следы на кладбище были только птичьи. И еще цепочка лисьих.

После похорон Нед занялся не только бабушкиными бумагами, но и моим устройством, чтобы я могла начать жизнь заново. В Орлонской публичной библиотеке он нашел мне работу и подыскал съемный домик, который располагался всего в нескольких кварталах от университетского кампуса. Мы обсудили все достоинства переезда. Практических преимуществ в нем я не видела. Если бы у меня были деньги, я предпочла бы провести еще двадцать лет в банном халате в бабушкином доме. Но переспорить Неда оказалось непросто, он как минимум был последователен, а трудности его не пугали, даже если трудностью стала его сестра.

Пока я, хлюпая носом, грызла свои кукурузные хлопья, Нед сам упаковал вещи, нашел агента по недвижимости и сменил резину на моей машине. И вот оно подошло, время отъезда. Я должна была покинуть Нью-Джерси. Мои коллеги в библиотеке хотели устроить отвальную, но меня не было и некому оказалось заняться организацией.

Кошку я забрала с собой. Тут у меня не оставалось выбора. Гизелла сама прыгнула в машину и уютно устроилась на коленях у брата, чтобы он всю дорогу до Флориды нюхал кошачью шерсть.

В тот день, в день нашего отъезда, было невероятно жарко. В яростном солнечном свете небо казалось сернисто-желтым; лишь у горизонта серой каймой собирались облака. Влажность поднялась до девяноста восьми процентов.

— Это чтобы ты быстрее освоилась во Флориде, — сказал Нед, оживленный и веселый на удивление.

Впереди над хайвеем небо прочертил зигзаг молнии, беззвучной и такой яркой, что осветился весь горизонт. Брат любил подобную погоду, его кафедра как раз занималась молниями, а он был одним из кураторов проекта.

— Не будь гроз, земля растеряла бы свое электрическое поле в течение часа, — сказал Нед.

Я вела машину, а он комментировал грозовые явления. Я привыкла быть одна, привыкла разговаривать сама с собой и, не слушая его, вдруг бездумно озвучила еще одно желание, от которого ожгло рот. Пожелала, чтобы в меня ударила молния.

— Какого черта, — сказал мой брат.

Одним из направлений его работы в Орловском университете были совместные с биологами и медиками исследования травм, полученных в результате попадания молнии.

— Ты представления не имеешь, что происходит с человеком, когда в него попадает молния. Ни малейшего представления.

Мне было все равно. Я уже дважды накликала смерть, и горечь собственных слов снова обожгла мне рот.

Исправлять что-то было поздно.

II

На новом месте кошке не понравилось. Ее трудно в этом упрекнуть. Орлон далеко не райский уголок. Кроме того, кошки живут привычкой и любят скорее дом, а не человека. Во всяком случае, с навязанной мне кошкой дело обстояло именно так, и она не скучала даже по своей первой хозяйке, из чьих рук я получила ее в наследство. Никогда она у меня не сидела на подоконнике, будто ожидая, когда за ней приедут и отвезут домой. Нет, на людей она, похоже, вовсе не обращала внимания. Моя радость. Моя любимица.

«Гизелла», — звала я ее из сада в дом, но она и ухом не вела и лишь от раздражения слегка подергивала хвостом, будто я была еще одной досаждавшей ей мухой, которые в Орлоне летали сотнями. Даже моя собственная кошка меня не любила. А чего я хотела? На новом месте ничего не изменилось, разве только влажность здесь была больше, чем в Нью-Джерси, было больше солнца и больше мух. Библиотека, куда я устроилась, финансировалась плохо, весь штат состоял из единственной сотрудницы по имени Фрэнсис Йорк. Она работала здесь уже сорок лет и начала

терять зрение, поэтому было решено взять еще одного человека в помощь. Именно мне, вообще не достойной ничьего доверия, предстояло стать ее глазами.

Хорошая была библиотека: стеллажи полупустые. Бюджет урезан. Читателей нет. Я на хранение в Нью-Джерси оставила книг в коробках больше, чем их было на полках в городской публичной библиотеке Орлона. Кроме того, там был — один на всех — древний компьютер для постоянных читателей и допотопная рукописная картотека. В библиографический отдел вообще никто не обращался. За месяц с лишним ко мне поступило всего три запроса, все по телефону: два — как применять удобрения, а третий, от студентки второго курса, — куда, в какую медицинскую школу перешел работать доктор Сьюсс[2]. Возможно, нужно было ей соврать, но я этого не люблю. Я прямо сказала этой студентке, что ее любимый писатель вовсе не доктор и что на самом деле он даже вовсе не Сьюсс, и она бросила трубку. Думаю, она еще просто не успела узнать, что словам нельзя доверять, пусть даже напечатанным.

---

[2] Примечания: 2
Псевдоним детского писателя Теодора Гейзеля.

Поскольку жили мы в университетском городке, где все студенты причастны к высоким технологиям, то наше скромное заведеньице для них оставалось практически невидимкой. А так как библиотечный бюджет не позволял нам обзавестись никакой техникой, то не только студенты, но и местные жители заглядывали к нам редко. Единственно, у нас раз в неделю собирался читательский клуб медсестер, но и в нем ряды поредели с тех пор, как я прочла им «Гусятницу»[3], где верному коню по имени Фалада отрубили голову и водрузили на городскую стену и эта отрубленная голова рассказала всем правду. После этого читать снова принялась Фрэнсис, хотя у нее уставали глаза и ей, чтобы разобрать строчки, приходилось подносить книгу к самому носу. Мой выбор Фрэнсис не осудила, но я и так все поняла. У нас были разные интересы: меня интересовала смерть, а их — детские игрушки. Так что я с благодарностью уступила ей право развлекать шумных медсестер по четвергам.

В Орлоне я обнаружила, что мне скучно жить без запросов про способы убийств и самоубийств. Оттуда моя жизнь в Нью-Джерси начала казаться

---

[3] Примечания: 3

«Гусятница» — сказка братьев Гримм.

отнюдь не тоскливой, а очень даже милой. Я то и дело смотрела на телефон, как будто ждала звонка от Джека Лайонса; с ним самый долгий, почти задушевный разговор состоялся у нас про вирусы, которые переносятся комарами, в частности про вирус лихорадки Денге. Мой брат и его жена Нина были очень заняты в университете, и после того, как они помогли мне обустроить дом — который оказался оборудован не кондиционером, а одним только потолочным вентилятором, — я их почти не видела. Впрочем, я на большее не рассчитывала, да и с какой бы стати стала рассчитывать? В конце концов, у них была своя жизнь.

По вечерам я дома слушала радио и била мух мухобойкой, которую купила в «Хозяйственном магазине Эйкса». Небольшая игра со смертью. С тем, в чем я что-то понимала. В чем разбиралась. Мух я била сотнями. Трупики бросала на подоконник, и они все так и лежали там. Я как раз предавалась этой игре, когда все произошло. Я только что занесла руку, в которой держала мухобойку, как вдруг увидела летевший ко мне теннисный мяч. Окно было открыто, под потолком жужжал вентилятор, небо дышало жаром. Я подумала, что мяч, наверное, забросили мне соседские дети. Вообще-то дети меня не умиляли,

любого возраста. Я не знала, что у них на уме и чего от них ждать. Я хотела заорать на этих паршивцев, чтобы убирались из моего двора. Но в то же мгновение вдруг заметила, что мяч этот необыкновенно яркий — настолько яркий, что мне пришлось отвернуться. Когда я перевела взгляд, то увидела, как мухобойка у меня в руке занялась огнем и искры рассыпаются по полу — просто фейерверк в праздник Четвертого июля.

Я подумала, что меня парализовало, поскольку не способна была ничего предпринять, кроме как смотреть на этот огненный шарик, падающий на пол. Потом услышала страшный грохот, похожий то ли на взрыв, то ли на выстрел. Вспомнила ледяной дождь, который грохотал по крыше в тот вечер, когда уехала мама. Это было как голос смерти. Как поступь неотвратимого. В какую-то секунду я подумала: «Все, мир рухнул». Я имела в виду свой мир. В каком-то смысле я оказалась права. За долю секунды моя жизнь изменилась. Может быть, этого бы не случилось, если бы я держала мухобойку не правой рукой, а левой, если бы муха, которую я хотела прихлопнуть, не влезла в комнату через дырку в шторке, если бы я не уехала из Нью-Джерси, если бы бабочка в Южной Америке не взмахнула крыльями, не

изменив все отныне и навсегда.

В больнице, придя в себя, я поняла, что мое желание сбылось, по крайней мере частично. Я чувствовала на губах обжигающе горький вкус смерти. Но желание, которое я произнесла вслух в машине по дороге во Флориду, исполнилось наполовину — наполовину я осталась жива. На правую. Левая моя половина не шевелилась. Были повреждены руки, ноги и туловище. Не были задеты только почки и легкие. Пострадало сердце, пострадал мозг — то есть именно те два органа, травма которых при ударе молнии чаще всего и приводит к летальному исходу. Однако мне, как меня уверяли, повезло, что это произошло в Орлоне; здесь такие случаи происходят чаще, чем где-либо во Флориде — в прекрасной Флориде, в штате с рекордным количеством травм и смертей в результате попадания молнии. Но именно по этой причине местные доктора лучшие в мире специалисты. Предполагалось, что я должна благодарить за это судьбу. Мне понадобится лечебная физкультура, а также хороший кардиолог, поскольку теперь у меня были проблемы с сердцем. Я слышала, как оно трепещет: повреждена задняя стенка перикарда, сказали мне. Будто внутри у меня билась угодившая в западню птица, чтобы

вырваться из моей грудной клетки.

Мне все это говорили, а брат и Нина при этом смотрели на меня; но в голове у меня тикало, и я никак не могла сосредоточиться. В таких случаях это не редкость, заверил меня врач, когда я пожаловалась на трепыхание. Не редкостью оказались и дурнота, и боль в шее, и отекшее лицо, и немевшие пальцы. Однако могло быть и хуже! Зато мне посчастливилось избежать отека легких, разрыва барабанной перепонки — и, соответственно, глухоты, — ожогов (потому что одежда на мне не загорелась), серьезных травм сосудов, инфаркта, катаракты, повреждений мозга, кожи, глаз…

После того как рядом со мной взорвалась шаровая молния, я пролежала без сознания тридцать два часа. Перспективы мои оставались неясными. Мой брат и Нина всерьез тревожились по поводу моего состояния. А я, конечно, ничего им не сказала, когда медсестра вкатила на столике мой обед. Не сказала ни слова, увидев пудинг, цветом похожий на камень. И длинные, абсолютно белые волосы медсестры лет двадцати, не больше. И когда я потом перевела взгляд на цветы, которые принесли ко мне в палату Нед и его жена, мне показалось, будто они присыпаны снегом. Тогда я все поняла сама. Я перестала воспринимать

красный цвет. И все оттенки красного спектра стали теперь для меня белыми или серыми. Видимо, это была реакция стекловидного тела на воздействие сильного жара, не менее типичная, чем повреждения роговицы или посттравматическая катаракта. Не имею понятия, с какой стати меня так ужаснула утрата одного-единственного оттенка, но в тот момент я ощутила себя бесконечно несчастной. Я оказалась лишена чего-то такого, чего не успела даже оценить, а потом вдруг стало поздно.

В больнице я провела тогда около двух недель. Брат у меня появлялся редко, зато Нина каждый день ездила ко мне домой кормить кошку. Когда в конце концов меня выписали — левая половина тела подчинялась плохо, и я передвигалась с ходунками, — забирать меня приехала тоже Нина. Дома я нашла полный холодильник. Увидела, что она к моему возвращению еще и пропылесосила весь дом. И поняла, почему мой брат так к ней относился. Нина была разумна, верила в порядок и, как и Нед, избегала лишних эмоций. Когда я села на свой диван и заплакала, она просто молча стояла рядом со мной, стиснув пальцы.

— Извини, — сказала я Нине.

Она кивнула и махнула мне рукой, чтобы я

продолжала. Я и продолжила, переведя чуть ли не целую коробку бумажных платков. Я плакала впервые за много лет, так что с непривычки переусердствовала. Я сидела на своем диванчике, и меня сотрясали рыдания. Как-то вдруг навалилось все сразу, и я, честно сказать, сломалась. У меня пучками лезли волосы, в затылке непрерывно отвратительно тикало. Я до сих пор не могла принимать твердую пищу. Лечащий врач сказал мне, что моя симптоматика сходна с радиоактивным отравлением. Именно так я себя и чувствовала — отравленной до мозга костей, до кончиков пальцев. Всю левую половину тела тянуло и ломало, будто она была омерзительно перекручена. Будто у меня там что-то замкнуло и были повреждены все провода, думала я. Моя суть, сама моя сущность были будто выжжены. Я касалась предметов и не ощущала их. Все твердое, прочное в моей жизни, казалось, ушло навсегда. И сердце в груди у меня дрожало, будто от холода.

Погода в те дни стояла все такая же — влажная и душная, обычная для Флориды; нормальный человек привыкнуть к такой не может. Лето еще даже и не начиналось, но жара висела в воздухе, оседая на всем, и придавливала собой все. Тем

не менее, когда Нина спросила, не хотела бы я чего-нибудь, я попросила чашку горячего чая. Меня трясло, мне было холодно, как никогда в жизни. Будто кровь во мне заледенела. И все вокруг тоже было словно изо льда. Я выглянула из окна, пока Нина ставила чайник. Там было бело. Я подумала, что, значит, бугенвиллея на самом деле красная; никогда этого не замечала. Вьющийся виноград, чьи листья подрагивали в дрожавшем от зноя воздухе, побледнел, будто прихваченный морозом. Мне показалось, что я одной ногой стою в этом мире, а второй — явно в соседнем. У меня не осталось никаких желаний, даже желания умереть. Я была в чем-то сродни самоубийце, который, решив покончить с собой, прыгает с третьего этажа, а в результате лежит с переломанными костями. Живой, почти невредимый, так и не вырвавшийся из своей западни.

Перед уходом Нина сказала, что меня будет навещать врач по лечебной физкультуре. Та явилась на следующее утро и позвонила в дверь, но я не открыла. Возможно, я не хотела возвращения к жизни. Возможно, мне казалось, я заслужила то, что произошло. Заслужила такую судьбу. Я сидела вместе с Гизеллой на диванчике, чувствуя себя вполне защищенной от своей визитерши, со

всеми ее благими намерениями и безусловной пользой. Однако врач заранее взяла у брата запасной ключ и открыла им мою дверь. Она сказала, что ее зовут Пегги Тревис. Как будто мне было не все равно, как ее зовут. Как будто она пришла ко мне в гости. Подозреваю, что платье на ней было в красную полоску, потому что мне она показалась серой. Пегги Тревис стала зачитывать перечень упражнений для восстановления функций левой стороны тела, которые нам предстояло освоить. Я извинилась. Неловко переставляя ходунки, я доковыляла до ванной, где меня вырвало.

— Это бывает у многих. — Ее никто не звал и не спрашивал, но она стояла у меня за спиной и смотрела, как меня выворачивает наизнанку. — У кого-то быстро проходит, у кого-то нет.

Она все же заткнулась. Но мне было наплевать. Я была где-то там, *после того.* Кто-то называет это вечностью.

Состояние у меня оказалось хуже некуда. Я не могла не только выполнить упражнение с резиновым мячиком, а даже удержать его в руке. Из-за новых стрессов снова посыпались волосы. Но моя Пегги была не из тех, кто позволил бы своей подопечной сдаться. Все это она видела не раз, и клиенты у нее бывали всякие — паралитики,

доходяги, невротики, упрямцы, в депресняке, потерявшие веру в себя и убитые горем. Она рассказывала о них, пока мы пили чай — Пегги пила холодный, со льдом, а я горячий, почти кипяток. Я потела, кряхтела в течение всего нашего занятия, отекшее мое лицо от усилий отекало еще больше, в голове оглушительно тикало, так что беседы с ней мне были ни к чему. Но люди вроде Пегги всегда так и действуют — дождутся, пока сосредоточишься на другом, зазеваешься, и тут-то тебя и заговорят до полусмерти. От ее болтовни мне казалось, что я вот-вот взорвусь — и так оно на самом деле и было, — но я молча пила свой чай. Выбора у меня не было, так что приходилось слушать. Я узнала, что ее последнего клиента покусал бульдог. Бедняга лишился семи пальцев, но посмотрела бы я, как быстро он восстановился. Он работает в «Хозяйственном магазине Эйкса». А до него была женщина, которая после аварии не могла вспомнить даже, как ее зовут, не могла ложку поднести ко рту без посторонней помощи, а теперь ничего, оправилась, слушает курс по истории искусств в Орловском университете.

Я прекрасно понимала, к чему все эти разговоры. «Заглоти наживку! Слушай! Ты тоже так можешь! Мотай на ус! Старайся».

У всех историй, которые рассказывала Пегги, всегда был хороший конец. Возможно, мне следовало ей намекнуть: удача не вечна. Я тоже была упряма и, кажется, изо всех сил старалась, как раз чтобы со мной ей не повезло, но через некоторое время мне все равно стало немного лучше, по крайней мере на посторонний взгляд. Про выпадение красного спектра, про зуд, от которого горела кожа, про тиканье в затылке я никому не рассказывала. Единственная, с кем я делилась, была моя Гизелла. Она подходила, садилась рядом со мной и клала лапу мне на руку. Лапа вместе с моей рукой начинала дрожать, и, потерпев немного, Гизелла ее убирала и начинала просто на меня смотреть. Думаю, она понимала, что со мной происходит. Единственное существо, которое знало тогда, как я себя чувствую. Я не удивлялась тому, что она меня не любила. Кошку не проведешь.

Фрэнсис Йорк пообещала оставить за мной место в этой своей пустой, без книг и без людей, библиотеке. Она позвонила, чтобы сообщить мне эту новость, и я ей сказала:

— Какая радость.

Она не заметила сарказма и решила, что я и впрямь обрадовалась.

— Разумеется, дорогая. Будем держаться вместе.

Не знаю, кого она имела в виду — библиотекарей, неудачников или же одиноких женщин, которых подстерегла беда. Думаю, она тоже знала, что такое беда, но выяснять это я не имела ни малейшего желания. Зато меня подмывало сказать ей, что на последнем месте работы я использовала служебное положение, чтобы регулярно заниматься сексом на служебной парковке с одним из читателей. С читателем, которого я никогда не любила и который не полюбил меня. Что мы занимались этим с ним даже зимой, когда машина стояла холодная и от нашего дыхания запотевали окна. Очень захотелось сказать, что теперь у меня в голове тикает и, стоит лечь, меня выворачивает наизнанку, а глаза — которые она считала отчасти своими глазами — болят до того, что вряд ли я снова смогу читать. Что мне удалось своими нелепыми желаниями спровадить на тот свет всех, кого я любила больше всего, и что не удалось отправиться туда следом за ними. Но я, конечно, только сказала спасибо, пообещав ей регулярно сообщать, как мои дела, и вернуться в библиотеку сразу, как только поднимусь на ноги.

Жизнь моя совсем утратила смысл, и это было к лучшему. К этому я привыкла. Хотя кое-что мне все же пришлось сделать, нравилось это мне или нет. Меня включили в группу травмированных молнией людей, состояние которых исследовали биологи, невропатологи и метеорологи научного центра, располагавшегося на третьем этаже университетского корпуса. Мой брат продолжал меня избегать, так как невольно чувствовал себя виноватым передо мной, а известно, что источник раздражения лучше не видеть. Лучше воткнуть его в группу — пусть изучат в лабораторных условиях. Так я это понимала, считая, что его чувство вины — следствие теории хаоса. Когда бы он ни позвонил, темой наших бесед была предыстория: если бы он не настоял, я не переехала бы во Флориду. Если бы я не переехала во Флориду, в меня не попала бы молния, и так далее и тому подобное. Мне надоело это выслушивать. И уж тем более я не хотела, чтобы Нед страдал. Мне достаточно было того, что страдала я.

Потому я и уступила.

Меня обстукивали, прослушивали, снимали кардиограммы и сканировали мой скелет. Меня обследовал невропатолог. Кардиолог. Потом психолог. Меня заставили пройти кучу интел-

лектуальных тестов, а потом уверяли, что нет ничего страшного в том, что я перезабыла имена исторических личностей, известных любому пятикласснику. Потом заставили проходить тесты психологические. Но я отвечала на вопросы неискренне.

До моего сведения довели, что типов повреждений молнией несколько — отраженная вспышка, знаки молнии, шаговый потенциал и прямой удар. Меня, по-видимому, поразил прямой удар, но мухобойка, к счастью, приняла на себя часть этого удара, суммарная мощность которого достигает ста двадцати миллионов вольт. Я узнала, что девяносто процентов жертв молнии выживают, однако двадцать пять из них получают повреждения, от которых потом не могут оправиться месяцами, а то и долгими годами. Брат прислал мне несколько специальных книг, его коллеги снабдили грудой брошюр. Кажется, они все не столько стремились повысить мой уровень знаний, сколько хотели показать, что мне повезло остаться в живых.

К концу того месяца мой невропатолог доктор Уаймен сказал, что дела у меня сдвинулись с мертвой точки и пошли на лад. Я с ним была не согласна. Да, конечно, я сменила ходунки на

трость, а занятия лечебной физкультурой сократились с семи в неделю до двух, а через некоторое время я и вовсе стала заниматься самостоятельно. А Пегги отправилась помогать следующему пациенту, немолодому мужчине, который упал с лестницы и сломал обе ноги. С точки зрения Пегги, со мной ее работа была закончена. «Поднимайтесь, гуляйте, наслаждайтесь флоридской погодой». Я уверена, то же самое она говорила и своему новому клиенту. Доктор Уаймен тоже наверняка хвастался мною перед коллегами. «Серьезное улучшение!» Даже когда я призналась ему, что у меня неладно с глазами, он ответил, что не стоит тревожиться из-за выпадения из спектра одного оттенка. Ему, может, и не стоило, а для меня эта ничем не восполненная утрата была мучительной, и я плакала. У меня, в моем мире, вишни теперь не отличались от камней. И как же я тосковала по всему, на что раньше не обращала внимания! По красным гвоздикам, яблокам, по птичке, про которую знала, что она кардинал[4], но которая была теперь серой, как дикий голубь.

Слов нет, до чего Уаймен ошибался. На самом

---

[4] Примечания: 4
Кардинал — небольшая птица с красным оперением.

деле мое состояние не только не улучшилось, а ухудшилось. Я без конца плакала, я мерзла, я боялась выйти из дома. Но я не могла объяснить, что со мной. Я тогда сама не все понимала. Не знала, что моя боль происходит из страха перед пустым пространством. Я боялась погоды, атмосферных явлений, боялась самого воздуха. Какой смысл в мерах предосторожности? «Избегайте соприкосновений с водой, с металлическими предметами, с поверхностью крыш; в грозу не трогайте телефон, не думайте, что оконные стекла — защита от молнии; даже если гроза идет от вас в восьми милях, это опасно». Избегайте соприкосновения с жизнью — наверное, так было бы короче. Мера предосторожности номер один. Не высовывайся, держись подальше.

Я понимала только, что в словах нет смысла и помочь можно только действием. Чтобы наглядно продемонстрировать доктору, что об улучшении нет речи, чтобы он увидел, как я теперь живу, я пробила рукой стекло. Глупость потрясающая, но, видимо, Пегги была права. Видимо, я все же хотела, чтобы мне помогли; возможно даже, я отчаянно искала помощи. Я попала в стеклянный капкан, пустая, холодная, мертвая. Вот, мол, какое у меня состояние, доктор,

если вам в самом деле хочется это знать: вот они, мои дребезги и осколки.

В научном центре всегда поддерживался температурный режим, потому там было хорошо, свежо и прохладно. От ворвавшегося внутрь сквозь разбитое стекло жаркого уличного воздуха мы пришли в состояние паники. Доктор буквально отпрыгнул от окна. На пол посыпались стекла. Если честно, я сама оторопела. Как будто та девушка из моей детской сказки вдруг проглянула из своего голубоватого ледяного панциря.

— Господи боже! — сказал Уаймен. — Что это вы такое делаете?

Рука у меня была, наверное, в крови. Я видела, что она стала цвета глины.

— Вы что, с ума сошли? — спросил у меня мой доктор.

Вопрос был задан более чем непрофессионально. По-моему, это Уаймен должен был мне сказать, сошла я с ума или нет. В конце концов, это он мне ставил диагноз и только что уверял меня в улучшении моего состояния.

Под разбитым окном рабочие стригли газон, и жужжание машинок слилось с тиканьем у меня в голове, так что я не слышала доктора Уаймена. Мне вызвали «скорую» и отвезли обратно в боль-

ницу, хотя всего-то нужно было наложить пару швов. Я хотела просто, чтобы меня поняли. Разве в этом есть что-то особенное? Только это я тогда чувствовала постоянно: страх, боль и отчаяние. Или нужно было просто сказать ему об этом прямым текстом?

Сорок восемь часов подряд меня осматривали терапевт и целая команда психиатров, и я все это время была приятной во всех отношениях для всех. Я умела делать что нужно. И когда нужно. Освоила еще в старших классах школы. Становиться той, кто вам нужен, девочкой, которая умеет слушать. Не прошло и суток, как сестры стали поверять мне свои любовные тайны, точь-в-точь как когда-то одноклассницы. Врач-диетолог прониклась ко мне доверием больше прочих. У нее умирала мать, и она, закрыв дверь, выплакалась у меня на плече. Про себя я не стала рассказывать — про свою мать, про то, как она бежала к машине, про любимую бабушку, про то, как та плакала во сне. Я будто снова заледенела на все время, проведенное в психиатрической палате. Первый выплеск, когда я рыдала, конечно, был аномалией. Я смотрела из окна палаты туда, где были далекие горы, но видела только противомоскитные сетки на окнах и высокие

капустные пальмы[5]. Даже те вещи, о которых я точно знала, что они существуют, мне не удавалось увидеть: герани в горшках на подоконнике, черно-серая коробка с шашками на серой полке, белые, будто заледенелые, губы у сестер, разговаривавших со мной.

Когда меня отпустили домой — снова наступило улучшение, — я вернулась самостоятельно на такси. Дома меня встретила голодная Гизелла. На этот раз Нина про нее забыла, так что я начала с того, что открыла бедняжке банку консервированного тунца и налила молока. Диагноз у меня теперь был: расстройство панического типа с последующей депрессией — и с тем и с другим было трудно не согласиться. И то и другое — как сказали врачи — спровоцировано травмой. Разумеется. Безусловно. Однако травма эта произошла не во Флориде, и молния тут была ни при чем.

Выпуская кошку во двор, я почувствовала перемену в воздухе. Это было очень странное ощущение. Как будто я вдруг превратилась из человека в облако. Я знала, что сейчас пойдет дождь, и через несколько минут он действи-

---

[5] Примечания: 5

Капустная пальма — род тропических пальм, произрастающих в Южной Америке и в субтропической зоне Северной Америки; достигает 40 метров.

тельно пошел. Я ощутила в воздухе заряженные частицы и быстрей позвала Гизеллу, чтобы та не промокла и не испачкала лапки. Когда я ложилась спать, в пяти милях от нас ударила молния. Она попала в сосну, расколов ствол надвое, и дерево загорелось, отчего начался пожар, спаливший дотла несколько домов. Было лето. Летние молнии бьют без грома, без предупреждения. Но меня теперь не нужно было предупреждать.

Я их чувствовала.

ГЛАВА 2
СВЕТ

I

«В чем разница между магией и молнией?» — одна из любимых шуток метеорологов.

Магию можно изучать. Молнии не поддаются изучению, будь ты хоть какой специалист. Молнии бессистемны и непредсказуемы. Они бывают с горошину, бывают с дом. Сопровождаются громом или беззвучны. Бывают разного цвета — красные, белые, синие, дымчато-черные, — будто они его выбирают. Могут попадать в дом через широкие каминные трубы и через закрытые окна, словно просачиваясь между молекулами стекла. У них какая-то своя жизненная цель и задача, и, как говорит большинство специалистов, от молний нет спасения, хоть принимай меры предосторожности, хоть нет. Прячься не прячься, все равно не убережешься. Планируй не планируй, они разрушат все твои планы.

У молний бывают свои любимчики, которых они сами себе находят в толпе среди сотен, а может быть, тысяч человек. У них свои игры, и они, похоже, не прочь поиграть. Температура внутри молнии достигает пятидесяти тысяч градусов по

Фаренгейту[6], что почти в пять раз выше температуры поверхности Солнца. Размеры их бывают от нескольких миль до мизинца. Эффекты их изумляют разнообразием. Бывает, что дерево после попадания в него молнии продолжает стоять как ни в чем не бывало и стоит еще несколько месяцев, а потом внезапно засыхает. Бывает, молния ударяет в автомобиль, срывая дверцы, все выжигая дотла, а приемник остается нетронут и из него льется печальная мелодия. Бывает, она бьет в телефонные провода и люди, которые спокойно болтали дома по телефону, лишаются слуха. Однажды молния попала в собаку, с которой вообще ничего не случилось, она только потом несколько недель испускала газы с запахом серы. Какой-то мужчина лишился последних волос, а женщина — одежды. Однажды разряд угодил в детскую, и бедный ребенок кричал, что у него по комнате носится какой-то огонь, но никто не удосужился пойти взглянуть, в чем дело, пока во всем доме не погас свет, а в другом таком же случае — до тех пор, пока не начался пожар.

Кто-то после удара молнии поднялся и закончил партию в гольф, и у него в жизни ничего не

---

[6] Примечания: 6
27 760 градусов по Цельсию.

изменилось, только к его коллекции историй, которыми развлекают знакомых, добавилась еще одна. У других жизнь меняется раз и навсегда.

Магия ли все это? Есть ли в этом хоть какая-то закономерность? Почти все странные погодные явления можно объяснить вполне разумными причинами. Так, кровавые дожди, пролитие которых раньше трактовалось как проявление гнева небесного, оказались попросту следствием испарений водоемов, окрашенных меконием[7], в тех случаях, когда все бабочки определенного вида одновременно появляются на свет, сбрасывая оболочку куколки. Черные дожди, которыми раньше тоже пугали, содержат в себе каменную пыль, занесенную смерчами в верхние слои атмосферы. То же самое касается дождей из лягушек, где тоже никакая магия и никакие чудеса ни при чем, там просто бедных лягух одна буря подхватила в одном месте, а другая обрушила вниз в другом. Даже если бы у лягушек при этом посыпался изо рта чистый жемчуг, то и тогда можно было бы найти логическое объяснение вроде того, что, мол, вероятно, их принесло с берегов Китайского моря, где жемчуга видимо-невидимо и он играет

[7] Примечания: 7
Меконий — продукт первичной жизнедеятельности чешуекрылых.

такими оттенками, каких не придумать нарочно: красным, пурпурным, багровым. Жемчуг цвета живого сердца.

В Орловском университете в соответствии с программой исследований занимались сбором фактического материала, с тем чтобы проанализировать результат воздействия молнии на физиологию человека. Наша группа собиралась по вечерам в кафетерии научного центра. Летний семестр пока что не начался, потому в кампусе в это время было тихо. Я не верила, что беседы в группе мне чем-то помогут — с какой стати? Я вообще не верила, что мне хоть что-то может помочь. Но брат настаивал, и работа в группе была частью исследований, на которые я подписалась. Считалось, что это нужно для общего блага, о котором я нередко забывала. Нед талдычил, что раз взялась, то нужно довести дело до конца. Вероятно, в его словах был резон. Тем не менее у меня не возникало ни малейшего желания тащиться через весь кампус, пусть даже пустой, с облезлыми волосами, которые продолжали сыпаться, и со своей тростью, так как хромота моя не проходила. Я тогда еще и заикалась, и вместо «трость» у меня получалась «ость», отчасти, наверное, неспроста. Эта «ость» засела в моей нервной системе и коло-

лась немилосердно, напоминая о том, кто я есть и кем мне уже не стать.

Наверное, в последний момент мне подсознательно захотелось спрятаться, потому что я спутала день, забыла время и место собрания, однако Нед мне прислал реферат первого доклада, уверенный, что меня он заинтригует. На скоросшивателе значилось: «Обнаженный». Могла ли я его не открыть?

«Обнаженный» раньше был кровельщиком — это одна из самых опасных профессий, как было написано в моей памятке. В тот день, когда в него попала молния, он занимался тем, что перекрывал крышу у тещи. Возраст: сорок четыре года; рост шесть футов два дюйма; вес 240 фунтов. Начинал лысеть, носил бороду. В тот день выпил две банки пива, но на момент попадания молнии пьян однозначно не был. Работал один, проработал к тому моменту несколько часов. Никогда не выигрывал в лотерею, никогда не имел собаки, никогда ничего не обещал, если не был уверен, что сдержит слово. Вплоть до того самого дня.

В тот день, работая, он напевал про себя «Огненное кольцо» Джонни Кэша[8]. Позднее, вспоминая

[8] Примечания: 8

Кэш Джонни (1932–2003) — американский певец в стиле кантри и рок-н-ролл, автор песен; обладатель многих наград «Грэмми».

о тех событиях, он понял, что эта песенка пришла ему в голову потому, что у него тогда начался роман с продавщицей из Смитфилдского торгового центра. А жена Джонни Кэша сочинила «Огненное кольцо», как раз когда они только что влюбились друг в друга и у каждого была своя семья. В этой песенке присутствовала страсть, настоящая страсть. Возможно, именно потому он и взялся перекрывать теще крышу при самой неподходящей для этого погоде. Страсть и чувство вины — плохое сочетание. Он хотел загладить вину.

Он оказался неправ.

Наполовину справившись с работой, он вдруг услышал странное шипение и ни с того ни с сего вспомнил о преисподней, поразмышляв, есть она или нет и, если есть, попадет он туда или нет. Потом он почувствовал покалывание в кончиках пальцев. А потом увидел то, что принял за упавшую с неба луну. У луны был хвост, а это уж точно дурной знак. Луной оказалась шаровая молния, упавшая на крышу с его стороны. Похожая на комету, она покатилась точнехонько на него — иссиня-черная, отнюдь не вымышленная и реальная в не меньшей степени, чем грузовик, башмак или живой беспомощный человек. Но

кровельщик подумал, что столкнулся с самим дьяволом или падшим ангелом. Вспомнил все, чего не успел в жизни сделать. И самым важным тогда ему показалась собака, которой он так и не завел.

Шипение стало громче, а в следующее мгновение он увидел, что стоит уже на газоне и на нем ничего нет, кроме рабочих башмаков. Одежда рассыпалась в прах, борода сгорела. На фотографиях в файле под названием «Обнаженный» он стоял на белом фоне с широко открытыми глазами и был похож на новорожденного, только что явившегося в этот мир. Нед знал, что мне непременно захочется увидеть этого человека живьем. В конце концов, я не зря стала библиотекарем, так что мне должно было быть интересно, чем все закончилось. Завел ли он собаку? Порвал ли с той женщиной? Сменил ли профессию и кем он теперь работает подальше от неба?

Я вычислила Обнаженного, едва вошла в кафетерий. На вид он с тех пор вроде бы похудел. И, как я, опирался на трость. Значит, в нем тоже застряла «ость» — то есть, иначе говоря, неврологические осложнения у него определенно были, но скрытого типа. Он смотрел прямо перед собой, и мне показалось, что он, как и я, пришел не

совсем по своей воле. Значит, и его убедили, что так лучше — прийти и облегчить душу, как будто это что-то меняло.

Большая часть участников в нашей группе и впрямь рады были поговорить об «эффектах молний» — так они называли симптомы своих новообретенных заболеваний. Обнаженный не произнес ни слова, а другие обсуждали свои отклонения точь-в-точь как химики, пытавшиеся понять, почему та или иная реакция пошла вдруг не так, как надо. Хотя, после всего, что им пришлось пережить, в чем можно их упрекнуть? Они не жаловались, не скулили, они лишь констатировали тот или иной факт. Почти все, как и я, мучились головной болью, дурнотой и потерей ориентации. Кто-то не мог работать, кто-то не мог спать, не мог сосредоточиваться, не мог заниматься сексом. Говорят, будто в результате попадания молнии люди становятся гиперсексуальными, электризуются, так сказать, в эротическом смысле слова, однако на самом деле куда чаще встречается эффект прямо противоположный — депрессия и импотенция. Кто-то из нашей группы в итоге страдал от мышечного спазма, кто-то стал заикой, а кто-то оставался абсолютно с виду нормальным, а может, не только

с виду. У кого-то были провалы в памяти, кто-то не мог сосредоточиться и терял нить разговора. Один из молодых людей не мог вспомнить, где он родился. А одна девушка все время забывала свое второе имя. Зато все помнили момент, предшествовавший попаданию молнии. Его помнили ярче всего, во всех деталях, хотя именно его-то все как раз и старались забыть.

На соседнем стуле рядом со мной сидел молодой человек, почти мальчишка, лет двадцати с небольшим. Высокий, неловкий, кареглазый. Несмотря на лето, на руках у него были перчатки. Заметив, что я на них смотрю, он наклонился ко мне:

— Хотите взглянуть?

В затылке у меня жутко тикало, и, наверное, голова дернулась. Сосед, судя по всему, принял это дергание за кивок и решил, будто мне интересно увидеть, что он там прячет. Будто мне было до него дело. Его звали Ренни, он не закончил второй курс, восстанавливаясь после молнии, и теперь ждал начала летнего семестра. Ренни снял перчатки, и я увидела, что было у него на руках в тот момент, когда ударила молния, — кольцо на одной руке и часы на другой. И то и другое впечаталось в кожу. Спрашивать, больно ли ему,

было излишне — это становилось понятно и по красным еще рубцам, и по той осторожности, с какой Ренни снимал перчатки.

— Жалко, время не показывают, — пошутил про свои «часы» Ренни. Он стал надевать перчатки. Скривился от боли. — Я в тот момент играл в гольф. А знаете ли вы, что пять процентов из всех попаданий молнии приходятся на площадки для гольфа?

— В самом деле?

Поговорить о пережитом все любят.

— Мы там были всем курсом, человек пятьдесят. У нас проводилась благотворительная акция, кампания по сбору средств на ремонт общежития. Мы веселились там, а потом вдруг — *бамс.* Пострадал один я. Вошла в голову, вышла в землю сквозь ноги. Прямое попадание. У меня там до сих пор еще дырка. — Он пошарил у себя по макушке и наконец нашел. — Вот здесь.

Разговор становился чересчур интимным. Еще немного, и он спросит, в чем я сплю, в ночной рубашке или без? Снится ли мне моя молния? Впадаю ли я в панику и запираю ли дверь при первых признаках грозы?

Но смотрел он на меня приветливо. И я подумала, что невежливо ничем не ответить.

— Я была дома, держала в руке мухобойку. Она угодила в мухобойку.

Он, похоже, остался доволен. Будто я открыла ему важную тайну.

— Ничего себе! Представляю, какая это была неожиданность.

Он сказал это дружески и сочувственно, так что я решила выдать ему еще чуть-чуть информации.

— Мухобойка была с пластиковым лепестком, так вот лепесток расплавился. Я ее купила в «Хозяйственном магазине Эйкса». Мне достался отраженный разряд.

Оставалось надеяться, что я правильно выучила профессиональную терминологию.

— Хорошо, что вы не гоняли мух свернутой газетой. Газета бы загорелась.

Его сдержанность мне понравилась. Он улыбался, и я в ответ тоже улыбнулась.

В тот вечер нас собралось восемь человек — старых и молодых, мужчин и женщин, — у которых не было ничего общего, ничегошеньки. Наблюдали за нами — а также, думаю, направляли беседу — медсестра, невропатолог (наверняка он был ассистентом у доктора Уаймена) и терапевт. В ходе той беседы оказалось, что из всех задокументиро-

ванных случаев попадания молний в человека у нас в штате две трети приходятся на округ Орлон. Это было мило. Я поселилась в эпицентре всех гроз, какие случались во Флориде. Понятное дело, что брату там нравилось.

Нам предложили по кругу представиться — разумеется, имелось в виду только имя, — добавив, что, если кто желает, может рассказать, как теперь живет. Этого никто не захотел. Одно дело — медицинские проблемы, совсем другое — это. «Что творится у вас в душе после того, как в вас угодила молния? Как у вас с сексуальной жизнью? А не пострадало ли ваше эго, ощутив на себе опаляющий жар? Или оно теперь только и занято тем, что разбирается с тиканьем, дрожью, заиканием и хромотой?»

Никто об этом не захотел говорить. Обнаженный принялся поудобнее устраивать нош. Юная девушка в симпатичных кудряшках и разных носках закрыла глаза и что-то бубнила себе под нос. Нежное ее личико все было испещрено мелкими крапинками — как мне сказали позднее, следами ожогов, появившихся оттого, что в момент попадания молнии от высокой температуры вскипели падавшие на лицо дождевые капли.

Никто из нас не пожелал обсуждать и свое

эмоциональное состояние. Не захотел впускать посторонних в личное пространство. Мы лишь молча смотрели друг на друга и застенчиво улыбались.

— Следующая тема…

Мэри попросила выступить сидевшего среди нас мужчину, оказавшегося фермером, который разводил кур; мы поаплодировали ему всем кругом.

После его выступления наконец завязался разговор про то, что на самом деле было всем интересно. Про молнии. «Вот такая», «Вот такой силы», «А вы что, не знали?» и тому подобное. Я узнала там про человека, которого ударило молнией так, что он летел футов сорок, прежде чем врезался в стоявший у дороги стог. И про женщину из многоквартирного дома, у которой молния перебила весь китайский фарфор в серванте. И про то, что в грозу опаснее всего находиться в открытом поле, что после молний там остается выжженное пятно, что нередко жертвами молний становятся коровы, а уцелевшие дают молоко желтого цвета, которое скисает еще не доенное. Но более всего нас заинтересовали истории про людей, которые сначала умерли от удара молнии, а потом возвратились к жизни.

Почти все из наших верили в одну, пусть не доказанную теорию: теорию моментальной смерти. На наш взгляд, было вполне правдоподобно, что молния могла отключить все метаболические процессы, подобно короткому замыканию, и тем самым «вырубить» человека до такой степени, что он официально признавался мертвым, причем на время настолько долгое, что в соответствии с логикой, а также с медицинской практикой возвращение становилось невозможным, а потом, после удаления причины, заново «запускались» системы жизнеобеспечения. Почему и как это происходит, не представлял никто. Тем не менее все знали, что иногда кто-нибудь возвращается.

Так, например, под Джексонвиллем жил один старик по прозвищу Дракон, которого никто из нас, правда, не видел, но про которого точно знали, что в него молния попадала дважды. А совсем рядом, даже в нашем округе, жил еще один человек, по имени Лазарус Джоунс. Он был уж точно реальный — его существование подтверждалось двумя документами: справкой из морга и выпиской из больницы. Раньше, пока в него не попала молния, Лазаруса Джоунса звали Сетом Джоунсом.

Услышав про него, я даже вздрогнула. Меня будто током ударило. Впервые в жизни я узнала, что где-то недалеко от меня живет человек, сумевший возвратиться с того света. Наконец меня что-то задело за живое.

Ничего подобного со мной не случалось очень давно.

Итак, мне тотчас захотелось узнать: какой он, этот человек, который один раз уже умер? Как выглядит? Сильно ли пострадал? Я даже подалась вперед на своем стуле, а потом пододвинула его ближе к рассказчику, который сидел в центре круга. Потому что рассказчик в тот самый момент говорил, что Лазарус Джоунс запросто может без огня сварить яйцо. И что в его присутствии меняется электромагнитное поле, лифты едут не вниз, а вверх, лампочки перегорают, часы останавливаются. Что раньше, до попадания молнии, он был ростом пять футов десять дюймов, а вырос до шести. Молния переделала, реорганизовала в нем все, вообще все, изменив до неузнаваемости. Что у него постоянно держится температура, причем настолько высокая, что ест он только холодное и сырое, потому что сырая пища доходит до готовности в момент глотания непосредственно в пищеводе. Что он пролежал мертвым сорок

минут — ни пульса, ни сердцебиения. Это было невероятно, но факт зафиксировали врачи «скорой». А когда Лазарус снова открыл глаза, то зрачки у него были до того расширены, что глаза казались черными. Обследовать он себя не дал. Ни офтальмологам, ни кардиологам, ни пульмонологам.

— Как же он мог вернуться? — спросила я у Ренни. — Разве за такое время мозг не гибнет?

— Если теория моментальной смерти верна, то нет, значит, не гибнет.

Мы шептались, склонившись головами друг к другу и соприкасаясь коленями. Я чувствовала, как Ренни дрожит. Не будь я осторожной, я, наверное, начала бы его жалеть.

— Наши специалисты пытались его обследовать, но Лазарус Джоунс воспротивился. По-моему, он суперпсих, этот парень. Говорят, доктора Уаймена он с ружьем прогнал от своего дома.

Доктор Уайман был тот самый невропатолог, который, когда я разбила окно, спросил, не сошла ли я с ума.

— По-моему, неплохая была идея, — рискнула я высказать свое мнение. — Я знакома с Уайменом, он мой невропатолог. Возможно, и нам здесь тоже не следует вести себя как морские свинки.

— Лично я не имею ничего против. Поесть дают. Причем не только морковку.

При этих словах Ренни хмыкнул, поднялся и пошел к столу, на котором стояли закуски. Я увидела, что и он тоже хромает. Нога, сквозь которую прошла молния, деформировалась, усохла; у него явно были неврологические нарушения. Эту ногу Ренни подволакивал, тремор был заметен на расстоянии. Я отвела взгляд. Мне не захотелось представлять его себе на зеленом травяном поле в яркий праздничный день, вот и все.

Я старалась сохранить холодный и ясный рассудок. Но все эти люди каким-то образом затронули во мне нечто такое, чего я и сама в себе толком не знала. Возможно, потому, что у всех, кто там собрался, пусть у каждого по-своему, тоже в одночасье рухнула жизнь и одним махом были уничтожены все надежды, все перспективы, открывавшиеся перед ними раньше. Я повернулась, чтобы взглянуть на Обнаженного, который сидел, опираясь обеими руками на трость и уткнувшись в них лбом. Он спал. Моя соседка, в которую молния попала, когда та подстригала кусты в изгороди, заметив мой взгляд, приложила к губам палец.

— Бедняга, — шепотом сказала она.

Я отметила, что у него на руке отсутствует обручальное кольцо, зато на брюках есть собачья шерстинка, короткая и черная, похоже, от лабрадора. Возможно, он получил то, что хотел, или то, о чем думал, что хочет этого. Вдруг Обнаженный застонал во сне, и мы вздрогнули и повернулись к нему. Значит, в том-то и было дело — они и его одолевали. Сожаления и горечь.

Обнаженный открыл глаза, когда мы собирались расходиться. Тут он нам и рассказал, что теперь вот так засыпает все чаще, что промежутки между периодами сна становятся все короче. Что он стал засыпать даже во время разговора: беседует с человеком, а потом раз — и спит. Он совсем перестает чувствовать разницу между явью и сном. В этом и состояла его главная беда и проблема. Один раз он начал было обсуждать со своей подругой Мари то, что они делали накануне, а она никак не могла понять, о чем речь. А потом он сообразил, что все, что было накануне, ему приснилось. Река, лодка, дорога, автомобиль, туча среди ясного неба, которую-то он вроде точно видел, — все исчезало, стоило ему открыть глаза.

— Я хочу, чтобы меня разбудили, — сказал Обнаженный. — Это все, о чем я прошу.

Когда у него по щекам потекли слезы, мы от-

вели глаза. Нам хотелось надеяться, что потом и это покажется ему сном. Эта комната с приглушенным, неярким светом и потрясенные лица людей, из которых никто не посмел ни о чем его спрашивать, чтобы не вторгнуться еще больше в его личное пространство. Пусть он лучше вот так уйдет, возьмет свою собаку, пойдет на прогулку и забудет про нас, про чужих людей, которые желали ему добра, но не сумели его разбудить.

В тот вечер нам всем пришлось фотографироваться. Это тоже входило в обязательную часть исследований. Было, как нам сказали, необходимо. Мы по одному заходили в смотровую. Раздевались и становились на белом фоне. Пока я, дрожа от холода, ждала своей очереди, я вспомнила «Сказку о том, кто ходил страху учиться». В детстве я ее не любила, эту историю про мальчишку, который не дрогнув одолел вурдалака, а потом уселся играть в карты со Смертью. Когда брат соглашался мне почитать, я всегда просила, чтобы он ее пропустил. Я тогда не любила сказки, где Смерть была главным действующим лицом. А эта вообще казалась мне дикой. Как может живой человек увидеть Смерть и не чувствовать страха? Потом подошла моя очередь, и я встала, куда сказали, и делала, что велели. Повернулась влево,

потом вправо. Повернулась прямо — на белом бумажном фоне. Эти фотографии будут храниться в моем файле, так же как и у всех остальных. Выражение лица у меня там будет точно таким же, как у Обнаженного, — удивленное и застывшее в яркой холодной вспышке. Возможно, Лазарус Джоунс потому и не пожелал обследоваться. Он был бесстрашным, он сразился со смертью и вышел из схватки с ней сильнее, чем был.

Одевалась я не торопясь. За мной в очереди никого не было. Я к тому времени снова села за руль, что, вероятно, в тот момент было неумно. Я все же еще не до конца окрепла. Порой накатывала такая дурнота, что приходилось съезжать на обочину — меня выворачивало наизнанку. А однажды вдруг не знаю что нашло, какое-то затмение, и я опомнилась только за городом на хайвее и долго не могла понять, как туда попала и куда ехать, чтобы попасть обратно.

Возвращаясь после того собрания, я дважды объехала собственный квартал, прежде чем наконец узнала свой дворик. Да это он, с самым плохим газоном, не политым, заросшим сорной травой. Подъехав, я торопливо направилась в дом, где сразу прошла в спальню. Я разделась, встала перед зеркалом и принялась себя разгля-

дывать. Фотографируясь, я закрыла глаза, словно пыталась так спрятаться от мысли, кем и какой стала. Теперь я хотела это увидеть. На груди, слева, немного повыше сердца, там, где меня на мгновение коснулась немедленно разлетевшаяся снопом искр молния, появилось темное пигментное пятно. Я его потрогала — внутри под кожей ощущалось уплотнение, похожее на имплантированный камешек небольшого размера.

Окна в спальне у меня были открыты, и кожей я чувствовала сквозняк, пробивавшийся из-за опущенных шторок. Значит, раз в жизни, но мне повезло. А Лазарус Джоунс, выходит, в отличие от мифического старика по прозвищу Дракон, живет от Орлона всего в пятидесяти милях. Я снова вспомнила про мальчика, не знавшего страха, представила себе, как он играет в дурака с мертвецами, как выкладывает, улыбаясь, на стол козырного туза, как идет потом по приходскому кладбищу и знакомится со Смертью. Мне было нужно… мне было просто необходимо увидеть этого человека — человека, которого нельзя убить, который остался бы стоять, где и стоял, если бы ему пожелали провалиться, человека, который *там* побывал и вернулся.

Гардеробчик у меня был еще из Нью-Джерси и

для Нью-Джерси — полный чемодан шерстяных платьев, шарфы, варежки и свитера. Мне нужно было новое платье. Я не покупала себе ничего несколько лет, с тех самых пор, как заболела бабушка. Одежда у меня была вся удобная, ноская и хорошо бы подошла кому-нибудь лет этак на десять старше. У меня даже не было приличных туфель, только пляжные шлепанцы, кеды и сапоги, для того чтобы ходить по снегу, которого не бывало во Флориде. Купить что-нибудь в Орлоне оказалось невозможно. Пришлось ехать по хайвею в Смитфилдский торговый центр.

Жара в тот день была за тридцать, а трость я оставила дома, так что стоило мне одолеть ногами парковку, как я уже выбилась из сил. Но тем не менее не сдалась и пошла дальше, правда, не в «Кей-март»[9], который на тот момент был для меня чересчур велик и потому его все равно что не было. Но рядом я углядела небольшой магазин готового платья, туда и зашла. Там я попросила продавщицу подобрать мне что-нибудь и отправилась ждать в примерочную. В примерочной было сумрачно и прохладно, и я спряталась там, как мне казалось, от сочувственных взглядов.

[9] Примечания: 9

«Кей-март» наряду с «Уол-мартом» — одна из самых крупных в США сетей супермаркетов.

Меня все везде принимали за онкологическую больную, а для меня это было проще, чем каждый раз объяснять про гостиную, про огненный шар, мухобойку и все то, чем отметила меня судьба.

Я как раз начала раздеваться, когда в примерочную вошла продавщица с охапкой платьев, которые теоретически могли бы мне подойти. Она лишь мельком посмотрела на меня и тут же осела на табуретку, которая стояла в углу.

— Прошу прощения, — сказала я, извинившись за свой вид.

Подхватила из вороха первое же платье и натянула.

— Молния, — проговорила продавщица. Значит, заметила у меня на груди пятно. — Это я вижу сразу. Господи боже, мне приходится с этим жить.

— Вам? — удивилась я.

— Не мне, — ответила она. — Но моему другу. Он меня когда-нибудь с ума сведет из-за этих штучек.

На картонке, приколотой у нее на груди, было написано «Мари». И тут я сообразила, кто она. Большая любовь нашего Обнаженного. Та самая, о ком он тогда думал на крыше. Я слишком много про них знала. Хорошо, что я успела свыкнуться

с подобными ситуациями, иначе было бы очень неловко.

— Наш мир недоброе место, — сказала Мари. — Только тебе покажется, будто вот-вот получишь все, о чем мечтала, а тебе раз — и преподносят кучу дерьма на тарелочке.

Она кивнула в сторону моего отражения в зеркале.

— Хорошо сидит, — сказала она про очередное платье. — Я сделаю вам скидку десять процентов. За все, через что вам пришлось пройти.

Я повернулась и тоже посмотрела на себя. Платье было простое, белое, рубашечного покроя. Хорошее платье. Я вспомнила, о чем думал Обнаженный, когда за ним, как он решил, явилась смерть.

— У вас есть собака? — спросила я у Мари.

— Собака? Как вы думаете, я что, позволю, чтобы какая-нибудь дворняга отирала у меня углы? Да ничего подобного.

Она наклонилась к вороху платьев. Она явно старалась взять себя в руки и сосредоточиться на том, что было перед ней. Я начала думать, что у Обнаженного опять есть какая-то тайная жизнь, о которой Мари ничего не знает.

— Вряд ли другое подойдет вам лучше, — сказа-

ла Мари, разглядывая в зеркале мое отражение.

Я подумала, что она права. Я купила это платье, а также к нему новые босоножки, так что из магазина я вышла в обновках. В машине оторвала бирки, включила на полную кондиционер и решила отдохнуть, чтобы сначала восстановить силы после такой непростой для меня операции. В кончиках пальцев кололи иголочки. Врачи считали это нормальным явлением, учитывая, сколько через меня прошло вольт.

Наконец я собралась с духом, включила зажигание и вскоре вырулила на хайвей. Единственное, что в тот момент я знала наверняка, так это что у меня новая, отличная, надежная резина. Пусть братец и начал меня избегать, как мне тогда казалось, но зато он угрохал кучу времени, чтобы в Нью-Джерси купить мне такие покрышки. Так что сцепление с дорогой было хорошее и ехать можно было быстро.

За это время вокруг ничего не изменилось. Вдоль дороги рылись в мусорных баках белые цапли. Желтела выгоревшая от жары трава. Наступило лето, то время года, когда Орлон напоминает настоящее пекло. Но у местных жителей это, похоже, всего лишь предмет для шуток, а не причина, чтобы перебираться куда-нибудь, где

попрохладней. Кондиционер у меня в машине работал, но я все равно опустила все стекла. Снаружи тянуло жаром, как из доменной печи. Новое платье от ветра надувалось и трепетало, и из-за его хлопков было почти не слышно тиканья в затылке.

В числе прочих «эффектов» моей молнии числилось также учащенное мочеиспускание. Оно опять же, как уверяли врачи, было явлением абсолютно нормальным. Я остановилась у бензозаправки, где болтались двое парней — пили содовую, убивали время. Увидев меня, они присвистнули. Они присвистнули, а я рассмеялась. И помахала им. У них там, наверное, вообще нет женщин, подумала я, если они присвистывают при виде такого жалкого убожества вроде меня. Я даже не стала смотреть на себя в зеркало в туалете.

Куда и как ехать, я знала — адрес нашла в телефонной книге и купила местную дорожную карту. Но на самом деле дорога оказалась намного длиннее, чем я думала. Флорида больше, чем Нью-Джерси, и машин на флоридских дорогах тоже больше. Похоже, никого там, кроме меня, не беспокоили ни жара, ни молнии, ни зеленые игуаны, шаставшие возле мусорных баков. Во

Флориде, когда спрашиваешь, как доехать, тебе могут сказать, мол, рукой подать, а потом окажется, что ехать нужно миль сто. Так что я плюнула на время. Какая, в конце концов, разница? Так или иначе, я все же добралась до места, съехала с хайвея и двинулась дальше по дороге, по обе стороны от которой росли фруктовые рощи. Дорога становилась все уже, апельсиновые и лимонные рощи все гуще, и вскоре я увидела указательный столб, обозначавший начало владений Джоунса. Вот где все, значит, произошло. Почти год назад — до года оставалось несколько дней. Дома, в библиотеке, я раскопала номер «Орлонского вестника» в старой подшивке, которая хранилась в подвале; там про этот случай была только коротенькая заметка в разделе «Городские новости». В заметке говорилось, что эту молнию с хайвея видели сразу в нескольких местах, так как она ударила с востока на запад, как снаряд или ракета. Потом сразу начался сильный ливень, и менее чем за час дорогу изрядно залило. Один водитель, проезжавший как раз мимо владений Джоунса, видел в земле глубокую дымившуюся воронку.

Когда вызвали «скорую», бригада, прибывшая первой, и зафиксировала смерть: в 4.16 пополудни. У погибшего от несчастного случая Сета

Джоунса отсутствовали пульс и дыхание. Врачи пытались восстановить работу сердца, но попытки закончились безрезультатно. Тело отвезли в морг, который находится в больничном подвале, но когда туда спустился дежурный санитар (через сорок минут, считая с момента попадания молнии), то он увидел, что грудь покойника под пластиковым мешком мерно вздымается и опускается. Пострадавшего срочно перевезли в реанимацию. Пальцы на руках и ногах у него были черные от копоти, а температура была такая, что, дотронувшись, можно было обжечься. Сердце едва-едва билось, потому Джоунса поместили в ванну со льдом, в надежде, что температурный шок выведет из инертного состояния всю систему. Как ни странно, фокус сработал. Джоунс застонал, вздрогнул и вдруг без посторонней помощи, самостоятельно поднялся из ванны и потребовал одежду и башмаки. Час спустя мистер Джоунс покинул больницу, отказавшись от обследования и медицинской помощи, и пешком дошел до автобусной остановки.

Окажись на его месте любой другой, он даже если бы и вернулся к жизни, то наверняка с нарушениями мозговых функций и остался бы калекой. Но Лазарус Джоунс дошел до остановки,

сел в автобус и приехал домой. Одни говорили, что так помог лед, другие — что произошло чудо. Хотя вполне возможно, Лазарус Джоунс симулировал смерть. Возможно, он не умирал, а умел, вроде тех фокусников или йогов, про которых все слышали, замедлять работу сердца и не дышать.

Сорок минут. Сорок минут на то, чтобы уйти и вернуться обратно. У меня на дорогу и то ушло больше времени.

Первое, что я увидела, когда машина свернула с асфальта на терявшуюся среди деревьев грунтовую дорогу, была воронка. Дело было не в том, что она до сих пор там существовала, а в том, что оказалась намного больше, чем писали в газете, — фута, наверное, три только в ширину. Корни деревьев, росших в непосредственной близости от нее, были, очевидно, повреждены, потому что некоторые упали, по всей видимости, недавно. Те, что еще стояли, имели вид, с моей точки зрения, необычный: плоды на их ветках висели белые, как будто снежки. Вероятно, с точки зрения прочих людей, не имевших дефекта зрения, они были ярко-оранжево-красные. Я затормозила, вышла из машины и подняла один плод с земли. Наверное, я ожидала, что он на ощупь будет холодный, потому что удивилась,

когда он оказался теплый и душистый. Я ободрала шкурку и надкусила мякоть. Наверное, если бы я была совсем слепой и вдруг дотронулась до лица человека, с которым бы спала, которого любила, но никогда не видела, то ощутила бы нечто подобное. Изумление узнавания. Плод оказался апельсином. Я съела его до последней дольки.

Руки я вытерла о свое новое платье, а потом вернулась в машину. Совсем скоро я увидела дом и остановилась. Дом был старый, фермерский, крытый жестью. Дождь, наверное, грохочет по ней, как автоматные очереди, а уж град-то — когда идет град — и того хуже. Я просидела там, разглядывая дом, сорок минут — ровно столько, сколько Джоунс лежал мертвым. Я хотела, если повезет, прочувствовать, насколько это долго. Тянутся ли сорок минут как вечность? Бывает ли так, что испугаешься одним человеком, а стряхнешь с себя страх уже другим? Я вспомнила, как проснулась в то первое утро без мамы. Окно тогда обледенело. Сквозь лед пробивался косой солнечный луч. Мой брат что-то мыл в кухонной мойке и не повернулся. «Еще рано, — сказал он. — Иди ложись». И я пошла спать. Мне приснились снег и лед, и они снились до тех пор, пока меня не разбудила бабушка.

А теперь я приехала туда, где на деревьях росли белые апельсины, похожие на снежки. Высоко в небе плыли легкие белые облака. Мной двигало желание, которое в первый раз я почувствовала много лет назад. Желание, навсегда поселившееся в моей груди, там, ниже, под меткой от молнии, где должно быть сердце.

Я хотела перестать быть собой и стать другим человеком. Неужели это так много? Неужели пожелать этого значит пожелать всего? Вот затем я и приехала. Мое желание отчасти сбылось уже потому, что я проехала пятьдесят миль. Та женщина, какой я была *до того,* ни за что не подошла бы к чужой двери, не постучала бы в нее — да не один раз, а три. Первый — за лед. Второй — за снег. Третий — за новую резину.

Там от всего несло жаром, даже пыль была горячей и обжигала носоглотку. Я приехала туда, где никто не знал, что такое лед. Где январский день не отличается от июльского. Как и тот кровельщик, который заплакал у нас на собрании, я вдруг перестала видеть границу между сном и реальностью. Я ущипнула себя — стало больно. Когда я разжала пальцы, кожа в том месте осталась сморщенной. Наверное, она покраснела. Знак был хороший.

Я выпрямилась, готовая принять все, чего бы я ни заслужила.

II

Имеет ли значение с точки зрения теории хаоса, какого цвета у бабочки крылья? Я хочу сказать: произошло бы со мной тогда то же самое, если бы я вообще не различала цвета? И открыл бы мне Лазарус Джоунс дверь или нет, если бы платье, в котором я приехала, было действительно белым, как его видела я, а не красным, как видели все?

Так и он увидел его из своего окна на верхнем этаже: женщина на крыльце в красном платье. Женщина, которая вдруг появилась, не к месту и не ко времени, постучала раз, и два, и три. Которая явно вознамерилась к нему попасть. Обычно, когда приезжал кто-то, он даже не приподнимал штор. Доктора Уаймена гнал от себя действительно с ружьем. Ему не нужны были чужие люди. Он не вступал в разговоры даже с работниками. Но засмотрелся невольно на красное платье. Так он мне потом рассказал. Возможно, мое платье напомнило ему тот самый день, когда в него ударила молния и апельсины вдруг стали красными. Напомнило про нечто такое, чего нельзя предвидеть и нельзя предотвратить.

Что до меня, то лично я была готова к чему

угодно. Оконное стекло в кабинете у Уаймена я разбила, оттого что мне тогда стало совсем худо и показалось, будто я вот-вот умру. А тут я просто сказала себе: еще пять минут, и если он не выйдет, то все, уеду. А вдруг я именно этого и заслуживаю, в смысле: ничего не заслуживаю. Если бы он постоял на втором этаже еще всего несколько минут, то, наверное, я повернулась бы и сбежала, как сбегала всегда. Но только я не знала, что же тогда делать дальше. Уехать, а что потом? Сбить на мосту ограждения и вместе с машиной утопиться в канале? Спрыгнуть со скалы? Вернуться домой, залечь на диван и смотреть на вентилятор? Я знала только одно: я хочу измениться. Хочу стать другим человеком. Я чувствовала себя как персонаж из сказки, оказавшийся в чужой шкуре — в ослиной, в тюленьей или в птичьих перьях.

Лазарус Джоунс вышел из дома. Я опустила глаза. Если бы он тогда увидел, что в них, то испугался бы. Если бы я увидела это в зеркале, то я и сама бы испугалась. В моих глазах было отчаяние. Я попалась в силки смертей и желаний, я ходила в чужой шкуре. Я была ослицей — мерзкой животиной с таким же мерзким голосом; была гусятницей, чьи глаза молили о жалости; была

жалкой нищенкой, которая пришла просить сухую корку. У меня с плеча съехала красная лямка. Мне было наплевать. Лицо и руки у меня все покрылись дорожной пылью. Этот человек целых сорок минут пробыл по ту сторону жизни и узнал о жизни все, а мне-то была нужна только малость. Я не собиралась его мерять радиоактивный фон. Мне всего лишь нужно было своими глазами увидеть живого человека, которого нельзя убить.

Над нами пролетели птицы, и тень их мелькнула на дощатом крыльце. Я стояла, затаив дыхание. Пора было либо извиняться, либо взять и сразу сказать, что я проехала столько миль, только чтобы спросить у него, умирать страшно или нет. Чтобы сказать, что я не знаю ничего хуже, чем исполнение желаний. Но я, как всегда, стояла и просто молчала.

— Кто вас сюда прислал? — спросил он.

Что я могла ему ответить? Судьба? Бабочка по другую сторону земного шара? Или зуд под той самой тесной ослиной шкурой, в какой я ему явилась? Или желание, которое я, восьми лет от роду, произнесла вслух, чем изменила всю свою жизнь?

— Вы приехали взять интервью или еще зачем-нибудь? — поинтересовался он.

Он вышел из тени дверного проема и взял меня за руку. Проверял ли он так на лживость? Мог ли он определить неискренность с той же точностью, с какой ход часовых стрелок определяет время?

Рука у него была такой горячей, что мне едва не стало дурно. Но если бы и стало, то вовсе не из-за моих недомоганий.

— Я не журналистка, а библиотекарь. Из Орлона. Я просто хотела вас увидеть. О вас говорили на собрании группы в центре, где исследуют людей, пострадавших от удара молнии. Нам сказали, что вас убило, но вы вернулись и теперь ничего не боитесь. Какая вам разница, кто я такая? Вы ведь не боитесь меня?

В тот раз я произнесла вслух столько слов, сколько не произносила их в одной тираде несколько лет. Говорить мне было трудно. Каждое слово давалось с усилием, будто я выталкивала из глотки острые камешки.

Джоунс посмотрел на меня внимательнее. Значит, он сначала подумал, будто я из тех любопытствующих нахалок, которые понятия не имеют, через что он прошел. Он выпустил мою руку.

— Если они так говорят обо мне, они идиоты.

А если бы я ничего не боялся, то сам был бы идиотом.

Он оглядел меня с головы до ног. Под его взглядом мне стало жарко. Я вспомнила, что я во Флориде. Где нет и не бывает снежных покровов. Я могла быть, конечно, честной. Но до определенной степени.

— У меня пострадала левая сторона, — сказала я. — Неврологическое поражение. Есть проблемы с сердцем. Из зрительного спектра пропал красный цвет.

Он расхохотался, и в одно мгновение лицо у него изменилось.

— Это так смешно? — спросила я.

Он перестал смеяться. Посмотрел на меня.

— Наверное.

— Вы не прогоните меня с ружьем, как доктора Уаймена?

— Оно не было заряжено, — сказал Лазарус. — Он удрал быстрей, чем я успел слово сказать.

Вот чего мне никто не сказал, так это что Лазарус Джоунс был очень красив. На вид казалось, что он моложе меня; точный возраст я бы не смогла определить — лет двадцать пять или тридцать. Глаза у него были темные, темнее моих. Я тогда еще подумала, что, наверное, они такие темные

потому, что в те сорок минут в нем выжгло все дотла. Одет он был в белую рубашку с длинными рукавами и в старые джинсы, обут в рабочие башмаки. Волосы у него были темные и давно не стриженные. Длинней, чем у меня. Когда он смотрел прямо, взгляд у него был горячий, будто и впрямь мог ожечь. Если бы Лазарус Джоунс захотел. Если ему дать повод.

— Ну, вот вы на меня и посмотрели, — сказал Лазарус. — Чего вы еще хотите?

Вопрос сбил меня с толку. Если ответить, то можно и самой обгореть дотла. Сгореть заживо.

Так мы и стояли и молча смотрели друг на друга. Это оказалось совсем не то же самое, что разбить руками окно. Как будто исчезло все *до того* и *после того* и существовало только лишь настоящее. Потом я вспомнила про Нью-Джерси, но не как про реальность, а как про какой-нибудь миф.

Делать нужно именно то, чего больше всего боишься, не правда ли? Во всех сказках самое страшное оказывалось потом правильным, а путь у главных героев лежит всегда то через горы, то сквозь колючие чащи, то через горящее поле. Потому я шагнула не назад, а вперед и взяла Лазаруса Джоунса за плечи, чтобы стоять

уж совсем рядом. У каждого человека есть своя главная тайна, и моя заключалась в том, что, не разобравшись со смертью, я не могла наладить отношения с жизнью.

От Лазаруса Джоунса пахнуло серой. Люди разумные стараются держаться подальше от источника такого запаха, но это не про меня.

— Раз уж вы сделали это один раз, то, может, не побоитесь продолжить?

Он в ответ на мой жест притянул меня ближе — на секунду, но тем не менее. Я вдруг перестала слышать в голове тиканье, перестала совсем. Перестала чувствовать запах апельсинов, запах горячей пыли.

— Вас не касается. Вряд ли вы захотите это выяснить.

Он отпустил меня, повернулся, шагнул через порог в тень дверного проема. Остановился и оглянулся. Я стояла, я никуда не ушла. Он не выдумал меня и не отпугнул. Пока что не отпугнул.

— Хотите узнать, чего я боюсь?

Его тень падала на пол и лежала между нами длинной, не меньше ярда, полосой. Тень была темная. Теперь солнце не било мне в глаза. И я смотрела в лицо Лазарусу Джоунсу. Видимо, я в ответ кивнула. Наверное, кивнула, потому что

он продолжал:

— Больше всего я боюсь жизни.

Потом он вошел в тень. Стукнула дверь, и я услышала, как щелкнул замок. Я осталась одна на крыльце, стоять и печься на солнце. День выдался до того жаркий, что не было ни одной птицы в небе. Все попрятались в тени.

Неподалеку в тени деревьев сидели и сборщики апельсинов, у которых был обеденный перерыв. Когда я побрела обратно к машине, один из них подошел ко мне. Молодой — на вид старшеклассник, — высокий, стройный и мускулистый. Волосы у него разлохматились, на лице светилось дружелюбное любопытство. Он был похож на Ренни, но выглядел в отличие от него здоровым и крепким, и руки у него были рабочие, с натертыми волдырями. Я подумала тогда, что волдыри, наверное, болят. Что он смазывает их вазелином. И что девушка, которая его любит, берет его руки в свои и лечит их поцелуями.

— Вы там с Джоунсом разговаривали? — спросил он.

— Всего одну минуту, — сказала я.

— С нами он не разговаривает. Зарплату нам оставляет на крыльце. А грузовики из фруктовой компании просто приезжают и забирают ящики,

он с ними вообще дел не имеет. Я до сегодняшнего дня вообще его никогда не видел. А вы рядом стояли. Он весь изуродованный, да?

Разумеется, нет. Он просто-таки красив. Но я подумала: если Джоунс не желает показываться на глаза чужим людям, то нечего его с ними и обсуждать.

— Не знаю, что и сказать.

— Вот и мы тоже ничего толком не знаем. Он после удара молнии должен быть весь в шрамах.

— Не разглядела.

— Расскажете потом, если чего увидите, ладно? Вдруг мы тут корячимся на какого-нибудь монстра. — При этой мысли парень улыбнулся. — Может, он вампир какой, восставший из мертвых.

— Нет, — решительно возразила я.

Он красивый человек, только все выгорело в нем дотла, и он закрыл дверь у меня перед носом. Вот и всё.

— Но ведь вы же не разглядели, — подначил он меня. — Или разглядели?

Из группы сборщиков ему свистнули, потом позвали по имени, так что он пошел обратно.

— Ладно, пока, — сказал он уже на ходу и направился к тени деревьев.

Я села в машину, газанула с места, но еще долго не могла успокоиться. На хайвее я пропустила свой въезд и заметила это, только проехав три указателя. Пришлось разворачиваться и останавливаться на ближайшей стоянке, где я воспользовалась туалетом и купила бутылку воды. Кассирша сделала мне комплимент, похвалив мое яркое красное платье, и я наконец поняла, почему засмеялся Лазарус, когда я сказала про выпадение цвета. Поняла, почему мне свистели ребята на бензозаправке, где я останавливалась. Они-то думали, что угадали мою профессию. Я смутилась задним числом, мне стало жарко. На руке, там, где он за нее взялся, вздулись волдыри. Горело ухо там, где он к нему наклонился.

Я вернулась домой, сняла платье и повесила в стенной шкаф ближе к стене. На следующее утро оказалось, что одометр в машине у меня не работает. Я подумала, уж не потому ли, что я постояла рядом с Лазарусом. Со мной тоже было что-то не так. Но со мной-то точно по этой самой причине. На руке, где он ко мне прикоснулся, остались точки, похожие на крохотные ожоги. Я поехала в университет, в центр здоровья, искать свою медсестру. Ее звали Джун Мэлоун, и она была на пару лет меня младше.

— Вы пропустили два визита, — сказала она.

— Разве? — ответила я, будто сама не знала. — Посмотрите, пожалуйста. Больно.

Я показала руку.

Джун выдала мне мазь от ожогов, но вид у нее стал настороженный. Возможно, она подумала, что я хотела что-то с собой сделать и нарочно обожглась, например, спичкой.

— У меня чувствительная кожа, — сказала я.

— Понимаю.

— Я серьезно. Чуть что, все остается на мне, — успокаивала я ее.

— Придется зафиксировать. Вполне возможно, это новый симптом серьезной болезни.

— Послушайте, я не люблю быть объектом изучения. Но разве все эти исследовательские программы придуманы для врачей и ученых, а не для пациентов?

Она убедила меня сходить еще раз к кардиологу по фамилии Крейвен, моему лечащему врачу, который, похоже, никак не мог запомнить мое лицо. Зато, к счастью, тотчас узнавал кардиограммы. Я принесла ему новую кардиограмму, и мистер Крейвен меня сразу вспомнил. Он спросил, бывают ли у меня сбои. Я ответила, что бывают. Он прописал мне нитроглицерин на

случай приступов боли и велел не глотать таблетку, а класть под язык. Вероятно, осложнение на сердце, а также моя неврологическая травма вызваны тем, что в детстве у меня были ангины. Очень распространенное осложнение. После этого я похромала восвояси со своей мазью и своим нитроглицерином.

Ковыляя через кампус, я увидела Ренни. Уже почти неделя, как начался летний семестр, и Ренни посещал лекции по своей основной дисциплине — современной архитектуре. Если честно, я-то хотела избежать встречи — я не собиралась заводить дружбу. Но он тоже меня заметил и окликнул, так что пришлось остановиться и подождать его.

— Пытались улизнуть?

На Ренни были шорты цвета хаки и кроссовки, футболка Орлонского университета и толстые кожаные перчатки.

— Приехала, так как появилось незначительное, но неприятное кожное повреждение.

Я показала ему волдырики. Мы опустились на скамью под капустной пальмой.

— Померяемся? — сказал он. Но, увидев, как изменилось мое лицо, тут же исправился: — Шутка. Валяю дурака. Вы не виноваты в том, что мои по-

вреждения хуже. Нам наплевать, да? Мы просто друзья по счастью остаться в живых.

Полагаю, друзьями нас можно было назвать с натяжкой. Он почти ничего о себе не рассказывал, только то, что вырос в семье врачей в Майами, младшая сестра заканчивала школу. Интересовала его одна лишь архитектура. Она была его страстью, завладевшей им с тех пор, как он впервые взял в руки кубики. Он боялся, что теперь, с такими руками, эта дорога для него закрыта.

Ему был двадцать один год, но в разговоре он казался старше. Ренни сидел рядом со мной и смотрел на проходивших мимо студентов. Я понимала его взгляд. Они и не представляли, через что ему пришлось пройти. Они жили в том мире, где ноги у всех людей целые и в макушках нет дырок. В мире, где никто не носит толстых перчаток, когда температура в тени переваливает за тридцать пять; никто не просыпается среди ночи от боли один в постели, чужой сам себе.

— Вы согласны со мной, что у всех есть своя поведенческая тайна? — спросил Ренни.

Я рассмеялась, вспомнив про Лазаруса Джоунса, который был моей новой тайной.

— А ты согласен со мной, что, может быть, мы

сложнее? Может быть, все мы собрание тайн?

— Если мелких, то разумеется. Я не имел в виду всю эту дребедень. Кто кого любит. Кто кого трахает. Это у всех одно и то же. Нет, я говорю про тайну, определяющую поведение. Суть нашей сути. Если ее понять, то человек перестает быть загадкой.

— Хочешь, чтобы я доверила тебе свою тайну?

— Возможно. Но начать стоит с какой-нибудь ерунды. Только осторожно. Так можно и подружиться.

Я была удивлена. Для меня он был чужой, малознакомый молодой человек, но мне казалось, что как раз он-то уже считает нас друзьями. Выходит, он не так-то и прост. Хотя, возможно, он просто привык к тому, что от его дружбы хотят отделаться, и это была защитная поза. Солнце светило ему в лицо, отчего я видела его нечетко. В общем и целом он был симпатичный парень, но ни одна студентка из всех прошедших мимо нас на него не взглянула. С изуродованной ногой, с дыркой на макушке, в перчатках. Они всё это видели.

Убудет от меня, что ли, если я с ним чем-нибудь поделюсь? Какой-нибудь самой малостью?

— Я ездила к Лазарусу Джоунсу.

Рении вытаращил глаза, а потом захохотал,

запрокинув голову.

— Да ладно дурить-то, — сказал он потом.

— Серьезно. Ездила.

— Чепуха и враки.

— Ну и прекрасно. Не веришь, и не надо.

— Хорошо. Тогда расскажите про него. Правда ли, что он прогнал Уаймена с ружьем?

— Оно было не заряжено. Он не хотел стать лабораторной крысой, как мы.

— Отлично! Сочувствуем отрицательному герою. Значит, может, и впрямь съездили.

— Он не отрицательный герой. И ему не в чем сочувствовать. — Вот это действительно было вранье. — У него апельсиновая роща. — И хватит. — Ладно, а теперь твоя очередь, выкладывай свой секрет.

— Да, у меня он тоже есть, — мрачно сказал Ренни.

Я проследила за его взглядом. В этот момент в сторону спального корпуса шли несколько девушек. Если честно, мне они казались все на одно лицо. Все были юные и хорошенькие.

— Та, которая слева.

Блондинка.

— Айрис Мак-Гиннис. Этой весной мы с ней были в одной группе на курсе истории искусств.

Она даже не знает, что я выжил. А я с ума по ней схожу.

— Но ведь это не тот секрет, который определяет твое поведение, не так ли?

Вместо ответа Ренни сказал:

— Вы посмотрите, какая она. А меня теперь уже никто никогда не полюбит.

— Не только у тебя проблемы в личной жизни. Можешь посмотреть на меня. Я здесь, я вот она.

Не стоило ему рассказывать ни про мои свидания на парковке с полицейским, ни про тех бойфрендов, которые спали с мной в старших классах, ни тем более про то, что мне было приятно чувствовать горячую руку Лазаруса, потому что то жжение мне кое-что напомнило. Но, сидя рядом с Ренни, я подумала: а в самом ли деле случайно я выбрала красное платье? Вдруг какой-то частью сознания я продолжаю ощущать красный цвет так же, как ощущаю желание?

Ренни ушел на лекцию, а я села в машину и поехала в библиотеку. Мне хотелось привести в порядок картотеку. Чтобы хоть чем-то компенсировать свое долгое отсутствие на рабочем месте. Я сидела и переносила в компьютер сведения с карточек, заполненных рукой Фрэнсис. На них скрупулезно было отмечено, когда и какие бра-

лись читателем книги. Одна наша читательница прочла буквально все имевшиеся в наличии труды по архитектуре, так что Фрэнсис потом заказывала для нее книги через межбиблиотечный центр. Я даже подумала, что такая энтузиастка архитектурного искусства вполне могла бы подойти нашему Ренни, но посмотрела на дату рождения и увидела, что ей под восемьдесят. Нет, подумала я, пожалуй, вряд ли она заменит ему прекрасную Айрис Мак-Гиннис.

В тот день, четверг, у нас собиралась подготовительная группа, и я из-за компьютера невольно слышала голос Фрэнсис, читавшей вслух. Она читала сказку Андерсена «Всяк знай свое место», где главная героиня была прямой противоположностью гусятнице у братьев Гримм. Где не было никаких отрубленных голов, выставленных на городской стене. Где путаница если и возникала, то только затем, чтобы герой ее тотчас же устранил. Мамаши приготовишек бросали на меня косые взгляды. Возможно, их малышам по ночам еще снились кошмары после той сказки, которую я им прочла. В таком случае ничего удивительного, что я не нравилась мамашам. Да, стоило мне раскрыть рот, как с губ у меня падали только кровь, лягушки и гибельные желания.

Я возилась со своими файлами. В тот день я переносила в них всех на «А» и скоро обнаружила карточку брата. Я не видела его больше месяца, а теперь как будто вдруг оказалась с ним нос к носу. Мне показалось странным, что Нед к нам записан, потому что у них в университете была своя библиотека, причем намного лучше нашей. Однажды один орлонский алюминиевый магнат преподнес университету в знак благодарности за пластиковое приспособление, компенсировавшее работу почек, колоссальный дар, и с тех пор научная библиотека, располагавшаяся в северной части учебного городка, считалась не хуже чем в Университете Майами. Тем не менее мой брат, оказалось, не только был к нам записан, но и на самом деле брал у нас книги. Я сунула его карточку в рюкзак, отложив разбирательство на потом.

Пока я добиралась домой, поднялся ветер. Горячий ветер. Я припарковалась и вышла из машины. У меня вдруг снова возникло чувство потерянности, которое во Флориде возникало не раз, словно я попала туда не по своей воле и занесло меня туда неизвестно как. Как будто в один прекрасный день я закрыла глаза, а когда потом открыла, оказалось, что вся моя прежняя жизнь

исчезла. Во дворике в зарослях сорняков сидела кошка Гизелла, и кончик ее хвоста сердито подергивался. Ее я узнала. Гизелла пошла следом за мной в дом, а когда я села на диван, прыгнула, устроилась рядом и стала на меня смотреть. Опущенные шторы раздувало ветром, и вентилятор под потолком крутился, хотя я его не включала. Я достала из рюкзачка библиотечную карточку брата, а Гизелла наступила на нее лапой.

«Тук-тук. Кто там?»

Я даже представить себе не могла, чтобы мой брат за свою жизнь брал в руки какую-нибудь книгу, кроме учебников или научных журналов. Тем не менее он заказывал полное собрание сказок братьев Гримм в одном томе, причем не один раз, а два. Развлечение это было ему явно не по возрасту. Зачем ему понадобились братья Гримм? Для чего? Мне и в детстве-то еле удавалось упросить его почитать сказки. «Пожалуйста, хоть одну вот эту. Или лучше тогда вот эту. Только, пожалуйста, не про смерть». Если он брался читать мне, то всегда отпускал комментарии. Генетически невозможно, чтобы человек превратился в зверя. Какая глупость, женщина не может проспать сто лет. Какая ерунда, как это — чтобы мертвец читал стишки, и не бывает таких людей,

чтобы если произнес вслух желание, так оно бы исполнилось. Но в тех сказках, где логика будто бы отсутствовала, она была, только особенная, и там всякие плохие вещи происходили с безвинными, родители оставляли в лесу ребенка, а опыт познания сплетался со страхом, который нагоняли в том числе и произнесенные вслух желания.

Я накормила кошку, налила себе холодную ванну. Волдыри сморщились, но еще не прошли. Теперь они были похожи на снежинки, упавшие на руку. Я лежала в ванне, дрожала от холода и следила, как за окном смеркается. Я отправилась к Лазарусу, потому что подумала, будто он способен помочь мне понять, как это все произошло тогда, в январский холодный вечер много лет назад. В те последние мгновения ее жизни, которые меня интересовали больше всего на свете. Правда ли, что человек успевает вспомнить всю жизнь, все то, что он имел и что потерял? Или только последние секунды имеют значение? И только они остаются потом навсегда, продолжая жить в вечности, как бесконечно прокручивающаяся запись? Что последнее она видела? Полоску льда? Что она слышала — возможно, у нее было включено радио и она слушала музыку? Думаю, на самом деле мне больше хотелось понять, была

ли она тогда зла на меня и может ли такое быть, чтобы когда-нибудь где-нибудь, все равно в каком мире, она бы простила меня за то мое желание.

Я выдернула из ванны затычку, оделась и вышла на крыльцо. Жара не спадала. Горячим был даже воздух, он обжигал носоглотку. Во дворе все от ветра постукивало, поскрипывало. Пальма громко хлопала листьями. Гизелла вышла следом за мной и направилась к кустам караулить кротов, которые время от времени выползали из нор. Я подумала, что вряд ли когда-нибудь буду чувствовать себя здесь дома. Вряд ли я вообще буду когда-нибудь снова что-нибудь чувствовать. Потом я подумала про братьев Гримм — поведенческая ли это тайна Неда или всего лишь обыкновенный секрет, проливающий свет на одну из граней его характера.

Где-то вдалеке прогремел гром, настолько обычный для Флориды, что вряд ли кто-нибудь обратил на него внимание. Я представила себе столб смерча и в его центре Неда, запертого внутри, как ядро атома в вихре из бешено вращающихся электронов. Попыталась представить себе, как Нед входит в публичную библиотеку Орлона в надежде найти ответ на один вопрос: что он в жизни сделал неправильно. Мне захотелось

позвонить ему и спросить: «Скажи честно, ведь ты тоже веришь, что желание может убить? Тоже веришь, что мы тогда могли что-то изменить — остановить ледяной дождь или остановить маму? Если бы мы тогда вдвоем встали у нее на дороге, если бы заранее позвонили в полицию, была бы она сейчас жива или нет? Скажи мне, брат мой, могли ли мы, ты и я, тогда хоть что-нибудь сделать?»

ГЛАВА 3
ОГОНЬ

I

Есть ли разница между любовью и манией? Разве не одинаково заставляют они нас, жертв волнения крови и воображения, не спать всю ночь и бродить по улицам? Разве не одинаково отдаемся мы тому и другому, будто ныряя головой в зыбучие пески? Разве бывал на свете такой мужчина, который, влюбившись, не превратился бы в дурака, и такая женщина, которая не приняла бы добровольное рабство?

Любовь похожа на дождевую воду: она или испаряется, или превращается в лед. Вроде только что вот она была, а уже ищешь и найти не можешь. Любовь эфемерна (мания все же реальней); любовь мешает, как булавка в стуле, как камешек в башмаке. От нее так просто не отмахнешься. Утренний телефонный звонок, сожаления. Письмо: «Солнышко, прощай». В маниях есть что-то привычное. Что-то, что знакомо всю жизнь. Что осело в тебе, обжилось и остается с тобой до конца.

Я пыталась дать определение своему тогдашнему состоянию. Я приняла решение не ездить в апельсиновую рощу, но едва закрывала глаза,

как перед ними всплывала дорожная карта. Сидя с тарелкой салата в университетском кафетерии, куда мы с Ренни стали частенько захаживать вместе на ланч, я чувствовала привкус апельсина, того самого, сладкого, с красноватой корочкой, который показался мне похожим на шарик льда. Губы у меня сами собой сжимались. Сердце начинало учащенно биться. Я вспоминала своих одноклассниц, одержимых любовью, и впервые испытывала к ним какое-то подобие сочувствия. Одноклассницы были дурами. И я стала дурой. По ночам мне снились дурные сны: змеи, приставные лестницы, лошадиные головы, выставленные на городской стене. В грозу я становилась у окна и начинала искать глазами молнию. Чуть дальше меня по улице жили студенты музыкального колледжа, и по вечерам, когда у них шла репетиция, я слушала гобой, от которого плакала, и фортепиано, от которого затыкала уши. Кажется, я начинала что-то чувствовать, пусть самую малость. Самую каплю. В том-то и было дело. Я до такой степени не разбиралась в чувствах, что даже не поняла, почему не могу спать, не могу есть, почему мои мысли неизменно возвращаются к Лазарусу Джоунсу.

Поскольку про любовь я не думала, то решила,

что это у меня навязчивое состояние. Мания. Некая эмоция, которую требуется обуздать, изъять, заменить другими, более серьезными и менее травматичными, и вышвырнуть на помойку. Я вернулась к работе, то есть проводила в библиотеке по нескольку часов в день. Но и там моя склонность к навязчивым идеям находила выход. Я только делала вид, будто увлечена делом: вносила в компьютер данные, вытирала пыль с полок, расставляла книги, а на самом деле шпионила и подглядывала, выясняла, кто что читает, из какого-то малопристойного, вдруг проклюнувшегося любопытства. Я была отвратительна. Я лезла в чужую жизнь, в чужую душу. Началось с читательской карточки брата, а потом я никак не могла остановиться. Вполне в своем духе — совершила ошибку, а потом не исправила, а, наоборот, так и шпарила вперед.

Я узнала, что любит читать приходящая ко мне врач по лечебной физкультуре: толстые романы в духе девятнадцатого века, где проблемы никогда не решались с помощью гимнастики и диеты. Знала, что Мэтт Эйкс, владелец хозяйственного магазина, берет главным образом биографии искателей приключений, иначе говоря, тех людей, которые знать не знали, что такое оседлая, без-

опасная жизнь. Дочь доктора Уаймена, приехав на каникулы из Новой Англии, где заканчивала частную школу, взяла Д.Г. Лоуренса. Обитатели нашего орлонского дома престарелых чаще всего брали рекламные брошюры с описанием путешествий по странам, куда они наверняка уже больше не съездят: в Египет, Париж, Венецию, Мексику. Мой почтальон увлекался поэзией — и мне стало понятно, почему вся та корреспонденция, какую я редко, но получала, всегда была измята или в пятнах. Повар из закусочной, где омлет был ужасный, а пироги еще хуже, читал у нас Кафку в оригинале.

Если бы Фрэнсис Йорк тогда поняла, чем я занимаюсь, она выгнала бы меня с работы в ту же минуту. Книги, которые человек выбирает, рассказывают о нем столько, что нашу рукописную картотеку Фрэнсис называла сокровищницей человеческих тайн, где каждая карточка служила путеводителем по чужим сердцам. Я знала, как Фрэнсис относится к нашей работе. С ее точки зрения, нашей главной задачей было не фиксировать, какими книгами интересуются наши читатели, а исподволь направлять их интересы. Я уважала Фрэнсис, мне она нравилась, и я боялась, что если она узнает, какая я на самом деле,

то сразу и прогонит. Дело было даже не в том, что я стала лезть куда не следует, а в той ядовитой отраве, которая меня на это толкала. Разве можно чувствовать себя спокойно в обществе человека, который знает все про мышьяк так же, как она про классификацию Дьюи[10]? В обществе одержимой смертью воровки, не умеющей отличать хорошее от плохого и белое от красного? Хорошо хоть, теперь у меня была Пегги, помогавшая разбираться с одеждой, и можно было надеть на работу поверх черной юбки белую блузку и не бояться, что она красная. Но и в этих блузках, застегнутых на все пуговки, в скромных юбках ниже колен, в удобных туфлях я все равно была собой.

На мое счастье, Фрэнсис ни о чем таком не подозревала. С ее точки зрения, я была образцовой сотрудницей: всегда вежливая, я никогда не отказывалась развезти книги тем из наших абонентов, кто оказался в больнице или по старости или болезни вынужден был сидеть дома. Раз в неделю я отправлялась в дом престарелых с коробкой, где лежали брошюры о путешествиях. Никто даже не догадывался, что я не достойна до-

[10] Примечания: 10

Десятичная классификация Дьюи — система библиотечной классификации книг, разработанная в 1876 г. Мелвиллом Дьюи.

верия. Никому в голову не приходило. Наверное, одни только мамаши из детской группы что-то такое подозревали, но они не считались. Я старалась больше не иметь дел с детской группой. Стишки, картинки, большие надежды — мне от всего этого становилось не по себе. К тому же детям всегда что-нибудь нужно: то они просятся в уборную, то хотят пить, то требуют выдать продолжение полюбившейся книжки, которого вообще не существует.

Стеллажи с детской литературой располагались возле большого окна, и когда светило солнце, то было видно, какие у нас пыльные полки. Пыль лежала комьями. Однажды утром я пришла на работу с губкой и шваброй. День был будний, уроки в школах только начались, так что какое-то время я могла наслаждаться одиночеством.

Я взялась за уборку и случайно наткнулась на тот самый томик братьев Гримм, который брал мой брат. Если же это была не случайность и я раньше краем глаза заметила его, то мой мозг скрыл от меня эту информацию, мгновенно определив ее туда, куда у меня не было доступа. Так или иначе, в какой-то момент я вдруг повернулась и увидела, что одна книга стоит не как

положено. Я взяла ее в руки, и оказалось, что это тот самый том. Он был старый, с серебряным тиснением на обложке. Страницы пахли влагой, и когда я, открыв, поднесла их поближе к глазам, то чихнула от этого запаха. На глаза навернулись слезы. Ну и что? Я же случайно взяла ее в руки. Случайно села на пол возле полок и сидела там, скрестив ноги, перелистывая страницы одним пальцем.

Одну сказку читали явно чаще других — возможно, это делал мой брат, — и края этих страниц разлохматились, в одном или двух местах красовалось кофейное пятно. Сказка называлась «Смерть в кумовьях», и ее я тоже в детстве не любила и всегда пропускала. Там Смерть приходит в образе женщины, которая становится в ногах у постели больного, и тогда больной умирает. Добрый лекарь, главный герой этой сказки, придумал одну хитрость — чтобы обмануть гостью по имени Смерть, он переложил заболевшего короля, и ноги того оказались у изголовья. У братьев Гримм сказки бывают то логичные, то не очень, а у героев логика всегда своя и вообще неизвестно какая. В особенности у тех, кого принято считать рациональными. Как, например, лекаря.

Смерть разозлилась и пообещала в следующий

раз забрать лекаря, если он снова ее обманет. Но лекарь, который был ученым до мозга костей и верил в правильный порядок вещей, не мог принять такие правила игры. Он твердо знал, что единственный выход — изменить направление движения. И этим он спас дочь короля, которую полюбил, но Смерть в отместку забрала его самого. Вот и все. Никаких объяснений, один только финальный акт. Жизнь за жизнь.

Ну можно ли так заканчивать сказку? Разумеется, у Андерсена добро всегда побеждает зло, но это же не Андерсен, а братья Гримм. В их сказке про игру, которую лекарь затеял со Смертью, существует только одно, очень простое, не понятое главным героем правило: если речь заходит о смерти, все бессильны. Выхода нет.

Это печальная сказка, где отвергается не только логика, но и любая разумная попытка понять ход вещей. И то, что не кто-нибудь, а именно мой брат читал и перечитывал эту темную, мрачную сказку, само по себе тоже было для меня загадкой. Я вспомнила, как он звал меня в дом, когда я стояла босиком на крыльце и смотрела вслед маминой отъезжавшей машине. «Смени направление!» Вот чего он тогда от меня добивался. Если бы я его послушалась, прошла бы смерть мимо

нашего дома?

В то самое время, когда я решила, что брат меня избегает — мы почти не виделись с того момента, как я угодила в больницу, — они с Ниной пригласили меня к себе на вечеринку. Нед позвонил и пригласил, а я от неожиданности до того растерялась, что сказала «да», хотя на самом деле имела в виду «нет». Я вообще, кажется, никогда не была на вечеринке, кроме наших библиотечных в Нью-Джерси, которые сама же и организовывала. Я давно знала, что мне легко общаться только с людьми, тоже знавшими, что такое катастрофа, пусть не на своем опыте, вроде моего врача Пегги, с которой мы иногда теперь вместе пили кофе. Или на своем, как Ренни, хотя с ним-то мы как раз и не подружились, отнюдь нет. Я, наверное, сошла с ума, если согласилась идти на вечеринку к математикам и вообще ученым.

Оказалось, что Нина и Нед устраивали эту вечеринку каждый год, приглашая туда своих коллег и аспирантов. Добраться до их дома оказалось для меня настоящим испытанием: на концентрических улицах кампуса, походивших одна на другую, я постоянно сворачивала не туда. Тогда-то я сообразила, что, переехав во Флориду, еще ни разу не была у них в гостях. И подумала, что,

значит, моя невестка что-то против меня имеет. А быть может, даже и брат.

Их дом — собственность Неда и его жены — находился в той же части города, где и прочие преподавательские квартиры высшего разряда, суперсовременные, сплошное стекло и бетон, и стоял в конце тупика, замыкая собой улочку. Ничего удивительного, что в Орлон приезжали работать лучшие ученые: условия им тут предоставляли прекрасные — но меня этот факт отчего-то покоробил. Паркуясь, я снова почувствовала в пальцах онемение, а в затылке тиканье. Они усиливались в моменты стресса. Я вышла из машины и зашагала к дому. Симпатичный газончик. Симпатичные цветочки. Я вспомнила про Лазаруса Джоунса. Как ни глупо, но и неделю спустя мне при мысли о нем стало жарко. Я увидела эркер и комнату, где сквозь большое окно видны были веселые лица гостей. И почувствовала себя так, будто явилась из другой вселенной. Назови ее хоть Нью-Джерси, хоть безумием, как угодно.

В доме я прошла сразу к бару, устроенному в маленькой комнатке. И налила себе полный стакан красного вина, по всей вероятности, красивого цвета. Мне оно виделось бурым, как грязь. За то время, что я цедила этот стакан, а потом

следующий, я узнала, что аспиранты Неда ценят его очень высоко, и один даже сказал, что, когда доктор Миллер уйдет на пенсию, именно Нед должен возглавить их факультет. А остальные то и дело громко сетовали на решение Неда, который отказался от чтения лекций в следующем семестре, так как хотел заниматься только исследованиями, о чем лично мне не было известно.

Нинины аспиранты на этом фоне казались более сдержанными, но лишь до тех пор, пока не налегли на вино, а потом уж себя показали. Вероятно, у них, у математиков, тоже существовали свои ритуалы, которых я не поняла. Вероятно, они тоже были преданы своей преподавательнице, хотя выражали это менее явно, и я заметила это только в кухне, где они стояли кружком вокруг Нины, которая разливала по тарелкам буйабес[11], приготовленный, как мне сказали, лично ею, что меня потрясло. Я-то думала, что такие особы, как Нина, возвышенные, занимающиеся абстрактной наукой, вообще не готовят. Хотя, впрочем, как раз для математика готовка, наверное, сродни решению уравнений: к моллюскам — томатный соус, к перцам — базилик, к лимо-

[11] Примечания: 11
Буйабес (*фр.* bouillabaisse) — сезонный марсельский рыбный суп.

наду — ром. Мое прежнее равнодушие, которое я всегда чувствовала к невестке, моментально сменилось враждебностью. Почему раньше она меня не приглашала, почему для меня не готовила свой буйабес? Значит, я для нее была всего лишь одним из проектов моего братца, на которые он тратит силы и время, в основном безрезультатно или близко к тому.

Я ушла от кухни подальше, к бару поближе. Там меня приметил чей-то аспирант. Аспирант назвался по имени и какое-то время ходил за мной следом. Я снова была в красном платье — наверное, потому и ходил. Пол — именно так его звали, — конечно, знал о том, что в меня жахнула молния, и хотел поговорить о моих ощущениях. Бывает ли, что меня тошнит? Случается ли слабость в коленях? А мигрени? А длительные депрессии? Не принести ли мне буйабеса? А пунша? Еще ему было интересно понять, как травма повлияла на мою сексуальность. Стала ли я горячее? Или холоднее? Существует, видите ли, довольно распространенный миф про гиперсексуальность людей, жертв молнии, хотя в него мало кто верит. Но вот в самом деле, случайно, не изменились ли импульсы моего электромагнитного поля, не способна ли я теперь вызвать в партнере такую

страсть, которая в состоянии перевернуть его представления о знакомом мире?

Разговор показался мне слишком интимным. Я-то думала поболтать просто о жаре, о погоде, возможно, даже о программе аспирантских занятий, но уж никак не о представлениях о мире. Глазами я поискала брата. И вдруг заметила, как он скверно выглядит. Он был какой-то облезлый, постаревший и похудевший. Как я раньше не замечала, что он начал лысеть и что так сутулится? Тем не менее, казалось, он был вполне доволен жизнью. Нед стоял в кругу своих коллег и хохотал над чьей-то шуткой. Я смотрела на него и думала: значит, он нашел счастье в своем логичном, прекрасно организованном мире, где никто не знает, что такое лед. Наверное, в Орлоне гостья по имени Смерть не заходит в дом, а только лишь заглядывает в окна. И наверное, оттуда, из-за оконного стекла, она не может забрать с собой того, за кем явилась.

Извинившись, я оставила аспиранта. В баре было только вино и пиво, а мне, чтобы продержаться до конца этой вечеринки, захотелось чего-то покрепче. Я прошла в кухню, где отыскала шкафчик с бутылками, и налила себе виски. Бабушка любила виски, а я временами составляла

ей компанию. Чай с виски был нашим любимым коктейлем. Нам нравилось сидеть в гостиной и смотреть, как за окном падает снег, или играть в «А что я вижу»[12]; мы играли даже тогда, когда бабушка начала слепнуть, а я стала взрослой. Так что я подняла стакан и выпила за бабушку. Мою бабушку, которая меня любила, несмотря ни на что, которой было все равно, кто я на самом деле.

Поскольку я скучала по бабушке, виски быстро закончилось и я стала глазеть в окно. Поскольку в жизни мне ничего не удавалось, включая эту вечеринку, я, глазея в окно, заметила во дворе женскую фигуру. Была ли это теория хаоса в действии или просто хаос в действии? Если на земле ледниковый период начался из-за какого-то пустячного сдвига земной орбиты, то какие же следствия должны были бы тогда обретать женские слезы? Двор был темный, неосвещенный, и я поначалу решила, что там статуя. Она была одета во все белое и стояла неподвижно. Но тем не менее это была Нина — математик, преподаватель, жена моего брата, моя невестка, — и Нина плакала.

---

[12] Примечания: 12

Развивающая игра для детей: взрослый что-то описывает, а ребенок угадывает.

В то же мгновение и она меня увидела. По-моему, она даже разинула рот. Она застыла. Я вспомнила про гостью по имени Смерть за окном, что она не властна над человеком, если к ней повернуться спиной. Потому я так и поступила. Повернулась к окну спиной. Конечно же, я просто сделала вид, будто ее не заметила. Конечно, и Нина тоже сделала такой вид. Мы с ней поступили точно так же, как в большинстве случаев поступают все люди, поворачиваясь спиной к жизни, разве не так? Сначала спрятать в коробку, потом перевязать бечевкой и, наконец, забыть навсегда. Пожалуйста, ну пожалуйста, давай уедем отсюда.

В гостиной аспиранты бодро уничтожали все, что там было съедобного. Кто бы мог подумать, что они такие голодные? Французские хлебцы, сыры, какие-то ягоды, белые, как снег, похожие, кажется, на клубнику, пунш, шампанское, пиво в огромных количествах. Все гости были веселые, а совсем не мрачные и не серьезные, какими, по моим понятиям, должны быть ученые. Но разве они все занимались своими исследованиями не затем, чтобы изменить представления о мире, чтобы выйти за пределы цифрового континуума и наконец понять смысл бесконечных чисел,

которые никак не желали складываться в сколько-нибудь осмысленную картину мира? Разве не должны они были смотреть на все серьезно и сосредоточенно? Разве им не было понятно, что в жизни вообще практически нет никакого смысла?

— У вашего брата вечеринки всегда получаются самые удачные, — вдруг сказал кто-то рядом со мной.

Видимо, это был комплимент. Сюр какой-то. Раньше я не видела даже, как брат разговаривал с людьми, кроме как с Ниной и еще в Нью-Джерси, когда умерла бабушка, с директором похоронного бюро. Гроб сосновый, убранство минимальное, цветы белые — они лежали в гробу, как сугроб. Я не знала этой стороны его жизни, так же как не знала, что он читает сказки.

Нед перехватил меня по пути к двери.

— Уже уходишь?

Наверное, я вообще его никогда не знала, а только думала, будто знаю.

— У вас очень милая вечеринка, но я здесь чужая. Ты только посмотри на них. Я даже не понимаю, о чем они говорят. Сплошные ученые и математики. При чем тут я?

— А как же библиотечная наука? — напомнил

мне брат.

Мы рассмеялись. Смеялись ли мы когда-то над чем-нибудь вместе?

— Тебе, похоже, намного лучше, — с надеждой сказал Нед.

Мне стало неприятно.

— Да, кажется.

Брат внимательно посмотрел на меня.

— Что ты хочешь этим сказать?

Я хотела сказать, что Смерть, конечно, у меня в ногах не стоит, по крайней мере сегодня, сию минуту. Потом подумала про потрепанную книгу на библиотечной полке. И захотелось спросить: чего еще я не знаю про него? Но вместо этого я сказала:

— Хочу сказать «да». Конечно. Мне намного лучше. А вот ты выглядишь так себе.

Брат провел рукой по своим редеющим волосам.

— Может, генетика. Наверное, я в отца. Лысею.

— А может, это как раз мамины гены. И ты здорово похудел. Может, это тебе нужно к врачу.

— Я очень рад, что ты приехала. — Мне показалось, он говорил искренне. — Я знаю, что ты не любишь вечеринки.

— Не хотелось проявлять невежливость.

— Вот как? Раньше тебя это не останавливало.

Сквозь толпу гостей я увидела кухню. Нина была уже там. Что бы там на нее ни нашло во дворике, теперь она взяла себя в руки и разливала студентам пунш.

— Поблагодари Нину от меня, ладно?

— Ладно.

Брат повернулся туда. Нина помахала ему поварешкой.

— Повезло мне в жизни, — сказал Нед и помахал ей в ответ.

Я уехала домой — если можно было так назвать мою съемную квартиру. Я выпустила кошку, налила себе полный стакан виски и легла на диван. Тишина была полная. Я любила быть дома одна, или, по крайней мере, я так думала. Я быстро уснула, опьянев, наверное, от какой-то глубинной, застаревшей усталости. Мне приснилось, что Нина превратилась в бабочку. Приснилось, что бабушка подметает у меня пол. Приснилось, что передо мной ведро с холодной, темной водой, что я сунула туда руку и между пальцами у меня проскользнула рыбка, пальцам стало холодно, но холод этот мгновенно сменился жаром, который пополз по руке к плечу, а потом по груди.

В дверь постучали, и во сне я выдернула руку

из воды слишком поспешно, так что ведро опрокинулось. Вода разлилась. Прозрачная, она на полу тут же побелела, а потом стала красной. Так в сказках открывается суть — сначала как дождь, потом как снег и как кровь. Я испытала ужас, почти такой же, как в то утро, после гибели мамы. Сны часто обманчивы. Мир может перевернуться, пока тебе снится бабочка.

Я пошла открывать, еще не до конца вернувшись в реальный мир. Крысы, кошки, мышки — за дверью мог оказаться кто угодно. Я едва не впала в истерику. Оказалось, я все помню. «Иди ложись, еще рано, темно, холодно».

Дверь открылась, и я с облегчением увидела на пороге всего-навсего обыкновенного посыльного с цветочной коробкой. Мне стало смешно, я попросила его подождать и пошла искать кошелек. Я дала ему десять долларов чаевых, что было совершенно на меня не похоже.

В дом шмыгнула Гизелла, держа что-то в зубах.

— Она у вас охотница, — похвалил посыльный.

— О, замечательная охотница.

У нее из пасти торчали две крохотные лапки.

Убийца. Вполне мне подходит.

По полу за ней протянулась цепочка красных

капель. Пусть я не видела красного, но я его помнила. Я-то думала, она принесла ворону или крысу, но Гизелла разжала зубы, и на пол упало кротовье тельце — значит, она его все же подкараулила. Слепого, беспомощного, мягкого, как перчатка. Значит, попался.

Нужно было вытереть пол, но я сначала заглянула в коробку. Там были розы. Я выскочила за дверь, окликнула посыльного и спросила, какого они цвета.

Посыльный хихикнул. Потом понял, что я не шучу.

— Дальтонизм, — объяснила я.

Посыльный был молодой и смутился.

— Извините. Я подумал, вы шутите. Розы красные.

Но я-то их видела белыми, и тот, кто прислал их мне, знал об этом. Мне понравилась двойственность смысла присланного букета, но она же и испугала. Мы виделись всего только раз, а он уже решил, будто меня понял. Сказки, загадки… люди тоже загадки. Реши загадку, и он твой раз и навсегда, нравится это ему или нет.

Гизелла сидела в углу над своей добычей, я шуганула ее газетой.

— Брысь отсюда! Оставь ты его!

Кошка всего лишь выполнила свою роль, но мне не понравилась пьеса. Крот лежал, как пожухший листок. Я присела рядом на корточки — бедняга не шевелился, и я подобрала его на газету. Похоже, крот не дышал. На всякий случай я поднесла его к уху, как обычно подносят раковину, чтобы слушать море.

Я послушала, подождала, а потом достала из шкафа обувную коробку, где у меня хранились лоскутки, и положила туда крота. Я решила потом похоронить его в родных кустах. Но сначала нужно было вытереть кровь, которая мне казалась на полу нападавшими снежинками.

Значит, Гизелла решила его загадку: сиди, жди-карауль, и он явится и будет твой. Мягкий, слепой, он жил в темноте на ощупь, не зная ни звезд, ни зубов, и думал, что, если вчера эта дорожка была безопасной, она будет безопасной всегда. Так он и попался на зубок — как пирожок, на один укус. Так и я попалась. Розы я положила на ночь в морозилку. Холодное сердце все хранит в холоде. А я не знала, нужны они мне или нет. Утром, когда я их вынула из морозильного отделения, где кроме них были еще лоток со льдом и заиндевевшие банки с соком, розы сверкали. Что еще нужно человеку, одержимому стра-

стью? Достаточно намека, подтверждающего, что предмет страсти реален, достаточно крохотного знака, который свидетельствовал бы о том, что ты не один в темноте. Я подумала о бедном Джеке Лайонсе, привезшем мне в Нью-Джерси букетик полевых цветов. На самом деле я стала что-то слишком часто думать о Джеке Лайонсе. Но он не только меня не понимал, он понятия не имел, кто я такая. А вот Лазарус Джоунс понял с первого взгляд, у него взгляд такой острый, что можно порезаться до крови. Лазарус Джоунс разгадал мою загадку и нашел ко мне ключ. Ледяные розы — вот что я заслужила за все, что сделала в жизни и чего пожелала.

Из дома я выехала рано, рассвело еще не до конца, и предутренний сумрак прибивал жару к земле. По прогнозу днем ожидалась гроза, и я чувствовала изменения в атмосфере всем своим существом. Ночью мне снилось, будто у меня длинные черные волосы. А я будто вся заледенела. Я так замерзла, что проснулась от холода. Перед грозой стояла страшная духота, и я тормознула на станции техобслуживания, где купила банку диетической колы, а заодно заправилась. Банка была холодная. Станция пахла бензином, апельсинами и нагретым асфальтом. На этот раз я

была в джинсах, в черной футболке, в сандалиях, иными словами, на мне не было ничего особенного, и никто на меня не пялился. Потом я ехала еще около получаса, то есть вполне достаточно, чтобы успеть передумать. Однако я тогда ни о чем не думала. И ни на что не надеялась. В машине у меня было включено радио, и, когда стал петь Джонни Кэш, я даже не сразу сообразила, что это за песня. Тогда я подумала про кровельщика, что молния в него попала, как раз когда он искупал свой грех, и что он решил, будто ему конец, как раз когда пел «Огненное кольцо». А теперь Джонни Кэш снова это пел на коротких волнах, какие ловил мой приемник. Во Флориде это был тогда шлягер. Его часто заказывали, слушали и потом — кто от большого ума, а кто сдуру и вообще не подумав — двигали прямиком в огненное, пылающее кольцо.

Все стекла у меня в машине были опущены, почти рассвело. Если бы я в тот момент вдруг разбилась, то последним услышала бы Джонни Кэша. Хотела бы я знать, остался бы со мной в вечности его голос, темный, глубокий и будто вобравший в себя всю мировую боль? Я была теперь на восемь лет старше матери, когда та погибла. Теперь она казалась молоденькой, будто годилась

мне в дочери, — светловолосая, с пушистой, только что вымытой головой, в веселеньком голубом шарфике, готовая жить да жить в тот январский холодный вечер, когда ехала праздновать свой день рождения, не зная, что он последний. Но кроме нее там была я, маленькая старушонка, ведьма, которая посмотрела ей вслед и топнула ножкой об лед.

Я свернула в апельсиновую рощу, припарковалась, вышла из машины и открыла заднюю дверцу. На заднем сиденье у меня лежал пластиковый пакет со льдом, в котором ехали розы. Конечно, я их взяла с собой для проверки. Мне хотелось посмотреть, как он отреагирует. На самом ли деле он понял меня или случайно выбрал красные?

Было еще очень рано, но Лазарус Джоунс уже проснулся. Услышав шум мотора, он выглянул из окна, спустился и встал в дверном проеме, лишь наполовину отодвинув вторую дверь с противомоскитной сеткой. Краска на крыльце облезла и пошла завитками. В стороне, в роще, работали примерно с полдесятка рабочих. Кто-то повернулся в нашу сторону, но вряд ли что-нибудь разглядел. Хотя бы уже потому, что поднявшееся солнце светило им в глаза. Слепящее солнце, от

которого потом в глазах плывут цветные круги.

Лазарус был в старых джинсах, в синей рубахе, застегнутой на все пуговицы, с еще не просохшими после душа волосами. Парило уже вовсю. Мне пришло в голову, что я в жизни еще не встречала такого красавца. Все казалось нереальным — его красота, белые апельсины, рокот грузовиков в полях и то, как он на меня смотрел.

— Стало быть, у меня гости, — сказал он.

— Возможно, ожидаемые. Я поняла вот это как приглашение.

Я вынула розы, насквозь промерзшие, с почерневшими стеблями.

— Мне никогда не дарили розы.

Он до конца отодвинул сетчатую дверь.

— Значит, я прошел проверку, — улыбнулся он. — Я понял, чего вы хотите.

Он был мне не пара. Он был из тех мужчин, в кого самые роскошные женщины вцепляются мертвой хваткой, в кого влюбляются еще в школе, а потом хранят верность до гроба. «Они предназначены друг для друга судьбой». Левая сторона меня еще плохо слушалась, волосы повылезли, кожа в пятнах, и я была старше его на десять лет. Но именно я стояла перед ним на крыльце. И розы он прислал именно мне.

Мы вошли в дом и встали в прихожей, рядом со стойкой для зонтов, скамейкой для обувания и вешалкой, на которой висели его куртки и шляпы. В коридоре было темно и пыльно. И не только в коридоре. Окна явно никто не мыл очень давно. В этом доме не видно было, какая погода. Здесь она была своя собственная, не такая, как во всем прочем мире. А в воздухе слышалось ровное, монотонное гудение, исходящее, наверное, от Лазаруса. Рассказчик из моей группы божился, что его электромагнитное поле способно воздействовать на все вокруг.

Почему я тогда не ушла? Потому что его гудение заглушило наконец мое тиканье. Потому что он открыл дверь настежь. Потому что во мне из-за него вспыхнуло вдруг желание, испугавшее меня саму. И в голову полезло всякое такое, про что я и не знала, что оно бывает. В том-то и было дело. В том самом, что заставляет людей совершать нелепые, глупые поступки и застывать посреди темной прихожей.

Мы прошли в кухню. На столе стоял его завтрак — стакан с холодной водой, миска с холодными хлопьями, салфетка и ложка. Я сообразила, что мои розы вот-вот начнут оттаивать, и положила их в раковину.

— Самое ужасное, что я теперь не вижу красного. Мне его не хватает, хотя раньше я его просто не замечала. Как и своего счастья.

— Вы что, несчастны? Готов поспорить, у меня больше проблем.

Лазарус протянул руку над столом, где лежала ложка. Один конец ложки поднялся. И ложка завертелась по кругу. Потом, громко звякнув, упала на стол.

— Это фокус, — сказала я.

— Это электромагнетизм, или как его там. Назовем просто болезнью.

— А что еще вы можете?

Под ложечкой екнуло, стало холодно. Я покатилась куда-то. Резко и вдруг. Если я не уйду сейчас же, немедленно, кости мои превратятся в лед и я разобьюсь вдребезги прямо у его ног. Дурища. В смысле, я — дурища. Заледенеть ни за что ни про что, из-за незнакомого человека, который мне вообще не подходит ни с какого боку. Пара минут на то, чтобы выбежать, прыгнуть в машину, нажать на газ, — и не пройдет и часа, как я буду в Орлоне. Но я уже знала почти наверняка, что никуда не убегу.

— Вы что, решили, что я фокусник? — сказал он. В голосе его слышалось презрение. Как будто

он привык уже к тому, что так на него и смотрят и этого от него и ждут.

Я вздернула подбородок. Посмотрела ему прямо в лицо.

— Возможно.

— Уж не хотите ли вы меня пригласить на детский утренник развлекать милых крошек? В программе будут: я, пони и кролики. Вам придется раскошелиться, я стою недешево.

— Я не люблю детей, — сказала я.

Он удивился и рассмеялся.

— К тому же их у меня нет.

Он понял. Понял, что у меня вообще никого нет.

— Тогда давайте будем развлекать вас.

Он подошел к столу и взялся за салфетку. На мгновение я подумала, что он собирается показать фокус. Просто так, мне назло. Сейчас она превратится в кролика или из-под нее вылетит игрушечная птичка и затрепещет в воздухе. Но он поднес бумажную салфетку ко рту, раскрыл рот и дохнул.

Из крана в мойку упала капля. Этот звук тоже оказался громче тиканья у меня в голове. Я во все глаза смотрела, как вспыхнула бумага. Как занялась синим, горячим пламенем. Как оно

разгорелось, так что стало обжигать пальцы, и Лазарус перестал ее держать, салфетка упала в его миску с хлопьями, и хлопья сгорели дотла. Никогда не думала, что у огня есть звук, но он был, похожий на вздохи, на трудное дыхание.

— Чем можете переплюнуть? — сказал он.

Я могла бы произнести вслух какое-нибудь желание, и оно бы тотчас исполнилось. Но разве был бы в этом какой-нибудь смысл? У меня в жилах текла ледяная кровь, и я была холоднее, чем какая-нибудь далекая, темная планета, никогда не видевшая солнца. Если ему нужен лед, то мы идеальная пара. Я подошла к столу, взяла стакан с водой, в которой плавали кубики льда. Высыпала их себе в рот. Если ему нужна женщина, которая заледенела однажды раз и навсегда и с тех пор как встала, так и стоит на месте, никуда не двигаясь, ни назад, ни вперед, и только смотрит в небо, неподвижная, заледеневшая, если ему нужно это, то он это получит. Не закрывая рта, я его поцеловала. Меня опалило жаром, но я выдержала. Я поняла, зачем туда приехала. И начала его целовать. Я целовала и вслушивалась в себя, в свое желание, и поверить не могла, что это я. Я застонала от счастья. Стон получился похожим на дыхание огня. Моя тайна оказалась в том, что

нужно растопить лед. Как научиться ходить и вообще жить тому, у кого внутри лед?

Я оторвалась от поцелуев, когда кубики льда во рту у меня растаяли и вода начала закипать. Я подошла к раковине, чтобы сплюнуть, пока сама не закипела. Вдруг я поняла, откуда взялся миф про сверхсексуальность жертв молнии. Все очень просто: мы уже знаем, что можем исчезнуть в любую секунду. Стоим ли мы у окна или на крыше, играем ли в гольф на зеленой лужайке или говорим по телефону у себя дома. Мы знаем, что можно вдруг взять и, как спичка, сгореть.

— Да. — Лазарус выглядел взволнованным. — Ваш фокус не хуже.

Я потянулась к нему — воробей к ястребу или, наоборот, ястреб к воробью. Не было никакой логики в том, что я пошла за ним следом в ванную. Не было никаких причин делать там то, что делала я. Кроме одной причины — я вдруг стала чувствовать. Я давно решила, что чувства не для меня. Вообще не для меня, никакие. Что я, наверное, никогда не сумею себя простить.

Он включил воду и стал набирать ванну. Я слышала только плеск воды. Я поняла его мысль: он нашел единственный, наверное, способ, чтобы мы — две противоположности, которых вечно

тянет друг к другу и которые вечно друг друга губят, — смогли соединиться. Я наклонилась над ванной и сунула руку в воду, пополоскала там ею. Вода была ледяная. Холод змейкой пополз по позвоночнику. Лазарус сказал, что это еще ерунда по сравнению с той ледяной ванной, в какой он лежал в больнице, когда едва не испекся от собственного жара и его положили на лед, чтобы хоть как-то сбить температуру и сердце не остановилось. Наверное, та ванна спасла ему жизнь. Тот лед. Он теперь без него жить не может. Лед ему необходим, и необходима женщина, такая как я. Холодная. Ледяная. Наверное, он мечтал обо мне, и я потому приехала. Тогда, в первый раз, в красном платье.

День был пасмурный, а потом наконец началась гроза. В ванной нам было слышно, как дождь стучит по крыше. Потом грохнул гром. И я как будто вдруг растворилась. Я не смогла уехать.

— Я хочу выключить свет, — сказал Лазарус.

Мне было все равно. Мне нравилось все, что он делал. Он зашторил окно, выключил светильник над раковиной. Было еле видно его силуэт. Оставалась одна только лампочка. Он выключил и ее. Мы очутились в потемках, отыскивая все на ощупь — руками, кожей, сердцем. Честно гово-

ря, я была ему благодарна за эти потемки. Я не красавица. И я никак не могла забыть про то, что старше его на десять лет. Я сняла одежду и шагнула в воду, содрогнувшись от холода. Он шагнул туда сразу за мной, отчаянно, наверное, меня желая. Я ощутила в воде границу жара. Я схватилась за гладкие края ванны. Вспомнила рыбку в ведре. Гостья по имени Смерть становилась в изножье кровати. Когда он придвинулся, я подумала, что утону. Возможно, так и должно было случиться. Ибо, насколько я помнила в тот момент, это и была вторая часть моего смертельного желания — чтобы был наполовину огонь, наполовину вода. Лазарус придавил меня и поцеловал, глубоким, подводным поцелуем, длившимся вечность. Когда я вынырнула из воды, внутри у меня все полыхало. На ощупь я отыскала холодный кран и пустила воду. Вода полилась мне на плечи, на грудь в полной темноте, за которую я была ему благодарна. Я могла бы оказаться тогда, в тот момент, где угодно, но я оказалась там. Я могла бы поехать на восток или на запад, но я приехала туда. Я закрыла глаза. «Опали меня, спали. Утопи. Сделай что-нибудь». Я обняла его крепче.

Когда я вышла из ванны, ноги у меня тряслись. Вода натекла на пол. Ступать по мокрому полу

было холодно, скользко, опасно.

— Мне кое-что нужно сделать, — пробормотала я.

Я завернулась в полотенце и пошла в кухню к холодильнику. Руки у меня тряслись. Это было в самом деле безумие. Я набрала льда, внутри все горело. Мне было все равно. Оно того стоило. Кажется, я в первый раз в жизни что-то в самом деле почувствовала.

— Я сделал тебе больно, — сказал Лазарус.

Он уже оделся и пришел в кухню за мной следом. С той ночи, когда я стояла на ледяном крыльце, мне ничто не могло причинить боль. Меня трясло от холода, я была мокрая, и он меня обнял. Сквозь одежду я почувствовала его жар. Услышала, как стучит его сердце, сильное сердце, бросившее вызов смерти, — сердце, которое однажды остановилось, а потом снова начало жить. Никто на свете не мог бы стать для меня желанней.

Немного же я изменилась за все эти годы; осталась почти как была, ревнивой и эгоистичной. Единственная разница заключалась в том, что теперь мне не нужна была вся вселенная. Теперь мне было нужно только одно: «Научи меня снова чувствовать, хоть как-нибудь и что-нибудь, пусть

в холодной воде, в ледяной постели, в темноте, до того темной, что не видно, где земля, а где небо. Пусть это повторится, снова и снова. Сделай мне больно, чтобы я поняла, что я живая».

II

Возможно, людей притягивают друг к другу сюжеты, которые они в себе носят.

В библиотеке я стала невольно отмечать, какие читатели берут одинаковые книги. С виду между ними не было ничего общего, но как знать, может быть, они похожи внутренне. Как разгадать загадку чужого человека, его самую глубоко запрятанную тайну? Я научилась по лицам определять, кто из наших читателей сбился с пути, и кто дотла прогорел, и кто старается что-то доказать всему миру, и кто вроде меня стал бояться чувствовать.

Я продолжала ездить в апельсиновую рощу. Это было бессмысленно, но я и не искала смысла. Я ездила как будто потому, что вдруг забыла все маршруты, кроме одного, а он приводил к человеку, который каждый раз меня ждал. К человеку, который, как и я — а может быть, в еще большей степени, чем я, — был одинок и чья история, как и моя, носила печать двойственности, кто, как и я, сгорал заживо посреди всего своего льда. Я теперь часто думала про Джека Лайонса, и, наверное, будь он снова рядом, я была бы добрее к нему. Но

не только этому я училась у Лазаруса Джоунса. Через несколько свиданий я собралась с духом и спросила у него: «Как это — умирать?» Он не ответил, как я ни упрашивала. Но я решила не отступать. Прицепилась и не отвязывалась. Больно ли это или, наоборот, приятно, видишь ли ясный свет или, наоборот, проваливаешься во тьму? Лазарус молчал. У него была удивительная улыбка, от которой он становился мне еще желаннее, если такое вообще было возможно. Желание, как поняла я тогда, само по себе вселенная, где нет, кроме него, ни моря, ни океана, ни друзей, ни родных ни до и ни после.

Все лето — до самой осени — я думала только о Лазарусе. Мне снился один и тот же сон: дорожный знак «Стоп», сплошная белая линия, поворот, крыльцо, дверь. За это время брат звонил мне несколько раз, оставлял на автоответчике сообщения, но я не перезванивала.

— Ты вообще жива? — спросил однажды, когда я прокручивала пленку, его родной голос.

Более чем, хотела бы я сказать ему. Как ни странно — ни удивительно, ни поразительно, — но вроде бы да, жива. Он бы не понял. Но могла ли я рассказать ему о том, как мы с Лазарусом сидим в дождливые вечера у него на крылечке, стисну-

тые со всех сторон темнотой, притянутые друг к другу, наверное, общим сюжетом, узнавая себя друг в друге, как в зеркале. Меня тянуло к нему постоянно — ощущением риска, ощущением жизни, ощущением выбора. Мы занимались сексом на том крылечке — в темноте под дождем. Мы ходили к пруду, где раздевались, не глядя друг на друга. Нам не нужно было смотреть, чтобы знать, чего мы желаем. Нет, это была только наша история, и не нужно было ни о чем рассказывать.

Теперь, когда я приходила на собрания группы, я не чувствовала ничего общего с этими людьми. Мне хотелось бежать подальше от горестных историй про сломанную жизнь. Я приходила позже, уходила раньше, на улице, если мне навстречу попадалась девушка в разных носках, я старалась не встречаться с ней глазами. Приближался сезон ураганов, когда люди, пострадавшие в результате попадания молнии, становятся наиболее подвержены стрессу. Когда в любой момент может произойти все, что угодно. В группе нам объясняли, как себя вести в это время. Следует держаться подальше от окон, рекомендуется соорудить противоураганный погреб. Я слушала все эти инструкции, а вечером, когда дул такой ветер, что машину едва не сносило с дороги, я мчалась

в апельсиновую рощу. Мне было наплевать на меры предосторожности.

— Где ты была? — спросил у меня Ренни за столом, когда мы пошли с ним перекусить после занятий.

Мы взяли овсяное печенье, шоколадные пирожные с сырно-сливочным кремом и тамошний фирменный торт, серый как не знаю что, подозреваю, что это был «Красный бархат»[13].

Я стала еще большей эгоисткой, чем раньше. У меня был мой тайный, только мой темный мир, и меня это устраивало. Поглощенная собой, в своей жадности я забыла про Ренни. Вот такой из меня был друг — плохой. Вид у Ренни был жалкий и озабоченный. Но за него-то я ответственности не несла.

— Везде понемножку, — ответила я.

— Трахаешься с ним? — сказал Ренни.

Вот так взял и сказал. Будто читал мои мысли. Неужели это было так заметно? Разумеется, я и бровью не повела. Как всегда.

— Господи, какая подозрительность. — Я взяла овсяное печенье, хотя терпеть его не могла. — Какая вульгарность.

---

[13] Примечания: 13

Торт с красной бисквитной основой, подкрашенной свекольным соком или другим фруктово-овощным красителем.

Ренни не так легко было одурачить.

— Хочешь сказать, догадливость?

— Вот именно.

Мы оба рассмеялись.

— С другой стороны, — добавил он, — ты ведешь себя глупо.

— Зато у тебя такой роман, что можно только похвастать?

У него был «роман» с Айрис Мак-Гиннис. Которая знать не знала, что Ренни жив.

— Ладно, — сказал Ренни. — Твоя взяла.

В основе нашей с Ренни дружбы лежали сходные взгляды на понятие «боль». Наша главная заповедь, основополагающий принцип, на коем строились отношения со всем миром, гласили: осторожней с чувствами. А еще лучше: не надо чувствовать. Ренни в своих толстых перчатках не чувствовал, что берет рукой — соломину или камень. Обнаженные руки чувствуют слишком много, а это чрезвычайно сильное и к тому же неприятное ощущение. Теперь мы с Ренни виделись очень редко, и в тот вечер я не поняла, что случилось. Ренни выглядел озабоченным, но на самом деле он совсем упал духом, потому что летний семестр подходил к концу.

На следующий день он позвонил мне в библио-

теку. Время от времени нужно было появляться на работе, и я именно что появлялась, лениво, медленно, в мечтах о Лазарусе переставляя на полках книги. Ледяная королева мечтала о пламени. Мечтала о каменистой тропе, которая привела бы ее в лес, сожженный пожаром, где стоят обугленные стволы. Где в конце ее ожидала бы цель, о которой мечтают все герои всех сказок. Не жемчуг, не королевство, не золото. Кое-что поважнее. Подлинное сокровище. Истина.

— Помоги мне, — попросил Ренни.

— Опять Айрис?

Айрис Мак-Гиннис, красавица, предмет его печали, была настолько от него далека, что вряд ли оказалась бы дальше, переселись она на Луну. Рении любил о ней поговорить. Обычно, когда он заводил этот разговор, я отключалась, но мое терпение было не беспредельно.

— Нет, не Айрис. Нет, дело не в ней.

Он боялся завалить зачет по архитектуре, летний семестр заканчивался, а он не мог сдать работу, потому что болели руки. А из-за тремора он принимал демерол вместе с тегретолом. Во мне тогда вдруг вспыхнуло ощущение своей вины, как будто я была, как и все, нормальная женщина. В первый момент я едва не сказала

«нет». Я собиралась сразу после работы прыгнуть в машину и нестись в свое тайное королевство, где росли белые апельсины. Собиралась ночью войти в холодную воду пруда, куда мы с Лазарусом ходили купаться в хорошую погоду, когда рабочие уже разошлись, грузовики, загрузившись, разъехались, когда становилось совсем темно. Камешки на берегу кололи босые ноги, а над головой у нас было темное, беззвездное небо. Весь день я думала только об этом, переставляя на полках книги. Мне страшно хотелось вернуться туда, где все на свете не имело значения.

Но как я могла отказать Ренни, своему другу, Ренни Печальному? Как я могла рассказать ему, о чем думаю на самом деле? «Пошел прочь, пошел прочь. Я теперь живу в своем королевстве, где меня никто не найдет, где нет разницы между пламенем и водой».

Мне бы нужно было посоветовать ему выбрать другую специальность. Но нет. Я никогда не давала себе труда подумать, и я сама предложила, что сделаю за него его работу, если он будет говорить, как и что. Ренни приехал вечером. Я видела, что нервы у него на пределе. В этом мы с ним тоже были похожи. В стрессовой ситуации тремор у него усилился. Торчали спутавшиеся, давно

не стриженные волосы. И он явно в тот день не принимал душ. Короче, все признаки отчаяния были налицо. У меня в таком состоянии усиливалось тиканье. Иногда до такой степени, что я не слышала телевизора.

— Ты уверен, что это тебе на самом деле нужно? — спросила я.

Он был или пьян, или накурился. Глаза у него были воспаленные. А потом я вдруг поняла: о нет. Глаза у него были заплаканные.

Ренни уставился на свои перчатки и, судя по выражению его лица, видел не свои руки, а то ли копыта, то ли львиные лапы.

— Наверное, мне нужно бросить архитектуру.

Подобное притягивается к подобному, сюжет к сюжету. Мне следовало ему сказать: да, брось, изучай литературу или историю искусства — любую дисциплину, только не ту, где тебя почти однозначно ожидает провал. Но это было бы слишком просто. Мне непременно нужно прыгнуть в колодец, уснуть лет этак на сто, привязать себя к дереву у подножия горы, на которой каждый день идет снег и лежит лед толщиной в десять футов.

— Не говори глупостей, — сказала я, на сей раз толкая к колодцу его. — Архитектор не строитель. Он творит и выдумывает. Все остальное делают

плотники.

— Нужно выбросить все это из головы. И Айрис, и архитектуру. Это просто нелепые фантазии.

— Выбрось, и никогда ничего не добьешься.

Я разговаривала с ним, будто какой-нибудь персонаж из андерсеновской сказки, с позиций разума и добра. Я была вроде девушки из группы поддержки игроков, я, его друг… Лгунья. Толчок, прыжок. Забудь про шлем, не бери спасательный жилет. Если хорошо постараться, у тебя все получится. Пройди по стеклу, вынь из сердца осколок льда, смотри вперед. Действуй.

Я-то услышала в своем голосе фальшь, но Ренни широко улыбнулся. Ему понравилось. Видимо, иногда всем нужны сказки Андерсена. Про то, как должно быть, про то, как могло бы быть. Рукой в толстой перчатке Ренни провел по спутанным волосам.

— У меня нет ни одного шанса, — сказал он, но по голосу я поняла, что он готов мне поверить.

— Тогда создадим его сами.

Я всегда во что-нибудь вляпывалась. Мне даже не хотелось в тот момент быть рядом с ним, а я вписывалась в серьезный проект.

— Сначала — храм, потом возьмемся за Айрис. Давай направляй. Командуй. Представь себе, что

я плотник.

Ренни принес с собой клей, дощечки, пробковые пластинки, бамбук, плексиглас, бумагу. Развернул на кухонной тумбе чертеж. Честно говоря, бросив взгляд на этот чертеж, я ужаснулась. Я в жизни никогда ничего не строила. Всегда только разрушала. Ренни заметил выражение моего лица.

— На хрен, — сказал он. — Наверное, мне и не нужно было за это браться.

Я сняла все с обеденного стола и положила на него большой чистый лист пластика, который принес Ренни в качестве основания для макета. Мы должны были соорудить на нем храм дорического ордера, но для начала нужно было выдворить из кухни кошку, что мне удалось с помощью банки тунца, которую я открыла и вынесла на крыльцо. Потом мы принялись разбираться с бамбуком. Ренни давал инструкции, и я взмокла из страха, что у меня ничего не получится. В жизни я ничего не делала правильно, и зачем только ввязалась?

— Потрясающе, — говорил Ренни каждый раз, когда мне удавалось скрепить проволокой две тонкие бамбуковые тростинки. — Отлично!

Когда я закончила этот якобы каркас, он полу-

чился похожим на скелет.

— Ты уверен, что так и должно быть?

Я тупо пялилась на чертеж. Получит или не получит Ренни свой зачет, процентов на шестьдесят зависело от этого макета.

— Это только каркас, — успокоил он меня. — Продолжим в следующий раз.

Мы заказали пиццу на дом, закрыли дверь в кухню, чтобы Гизелла не разрушила храм. Я включила вентилятор, и то ли от вентилятора, то ли само по себе тиканье в голове поутихло.

— Потом я хочу подарить этот храм Айрис, — признался Ренни. — Я так задумал в начале семестра.

— Надо же, — сказала я.

На этот счет у меня были определенные опасения, мне казалось, что это дорожка в тупик. Я сомневалась, что Айрис известно о существовании Ренни.

Ренни открыл бумажник и достал маленький золотой амулетик с выгравированным на нем именем Айрис. Амулетик в его перчатках казался прекрасным, крохотным и печальным.

— Мне сделали его по заказу в ювелирном в Смитфилдском торговом центре. Потом повесим его над входом. Готов спорить, ей в жизни ничего

такого не дарили.

— Ренни.

Любовь, мания или и то и другое вместе? Видимо, на лице у меня отразились сомнение и жалость.

— Думаешь, я дурак? У меня нет шанса?

— Я думаю, у нас с тобой нет шанса, — созналась я.

Когда принесли пиццу, за нее расплатился Ренни, заявив, что угощает — в знак, значит, благодарности за мои старания. Когда он протянул деньги, рассыльный уставился на его перчатки — наверное, решил, что у Ренни заразная болезнь.

— Он идиот, — сказала я, когда рассыльный ушел. — Не обращай внимания.

Ренни снова убрал золотой амулетик в бумажник, что ему удалось не сразу, так как он хотел уложить его аккуратно, а в перчатках делать это было неудобно. Раньше его перчатки казались мне неотъемлемой деталью его облика, как, скажем, лапы у Гизеллы. Теперь я невольно обратила на них внимание. И подумала про Айрис Мак-Гиннис, которая жила себе беззаботной студенческой жизнью, не помышляя про тайную любовь, золотые амулеты и дорические храмы.

В воздухе что-то переменилось, и я, почувство-

вав смену атмосферного давления, выглянула за дверь и позвала Гизеллу. Та ворвалась в дом и прямиком бросилась в угол. Даже не посмотрела на пиццу у нас на кофейном столике. На нее было не похоже. Значит, снова кого-то поймала. Крохотные лапки. Серая тень.

— Оно живое? — спросил Ренни.

— Кто же выживет у нее в когтях? — И я извинилась за Гизеллу: — Такова кошачья природа.

Ренни подошел к кошке, попытался отнять грота. Гизелла вцепилась зубами в его перчатку.

— Бог ты мой, какая злющая. Отпусти! — приказал он.

Кошка и не подумала подчиниться, потому Ренни взял *ее* за загривок и слегка встряхнул. Возможно, Гизелла обиделась, так как я-то с ней обращалась как с равной. Она взвыла, выпустила перчатку, зашипела и удалилась.

— Убивица, — бросила я ей вслед.

Моя любимица, моя ненаглядная. Я почти к ней привыкла. В тот момент я за нее испугалась — вдруг она уйдет на всю ночь — и с тревогой ждала ее на крыльце, пока кошка не подошла ко мне, неспешно и грациозно. Подняла голову, посмотрела в глаза. Потерлась об ноги. У меня были куплены сливки, специально для нее. Плохой

признак. Ведь мой девиз: никаких привязанностей. Вообще никаких.

— В нем дырки от зубов.

Ренни держал крота в руке.

— Мертвый?

Пицца наша уже остывала, но я пошла посмотреть. Крот не шевелился.

— На крыльце у меня еще один.

— Ты серьезно? Еще один крот?

Я повела Ренни на крыльцо, где стояла обувная коробка. Сняла крышку.

— Этот точно мертвый.

— Ты их что, коллекционируешь?

Мы засмеялись, но вообще-то это было не смешно. В коробке лежал крохотный, усохший крот, похожий на свернувшийся листок. Может быть, я и к нему успела каким-то образом привязаться? От крота пахло землей и пылью — запах, от которого стало больно и грустно.

— Нет, этот живой, — сказал Ренни о новом кроте. И положил его себе в карман пиджака. — Наверное, тоже тот был живым. Они же еще притворяются. Очень, знаешь ли, трудно определить.

Значит, я все равно была еще той же девочкой, произнесшей вслух страшное желание. Прикос-

нись ко мне разок, и заледенеешь. Прикоснись ко мне другой — и, скорее всего, не станет тебя на свете.

— Ты проверила или так и выбросила? — спросил Ренни.

Кажется, Ренни — после всего, что я для него сделала в этот вечер, — пытался обвинить меня не то в убийстве, не то в легкомыслии. В данном конкретном случае особой разницы не было. Руки у меня были испачканы клеем, покрасневшие пальцы онемели от всех его проволок. Я обиделась так, что не сумела этого скрыть.

— Лучше тогда на том и закончим, — сказала я. — Если я не способна ничего сделать как полагается, то каким образом я построю тебе храм?

— Значит, я тебе надоел? Вот в чем дело? Почему бы и нет? Теперь все стараются только избавиться от меня поскорее.

Он воспринимал все настолько остро, что для того, чтобы его убить, хватило бы всего одной капли яда, всего одного слова, одного взгляда, одного осколочка льда. Ренни стоял, опустив голову. Он смотрел на крота. Я увидела то, чего не хотела видеть раньше: Ренни был несчастен. Подобное тяготеет к подобному. Я поняла, что он чувствовал.

— Ренни, я не это имела в виду.

Я подошла к нему. Он был мой единственный друг. Я увидела у него на ладони крота, заметила, что тот еле заметно дышит. Что у него разорвано ухо.

Я рассказала Ренни про Лазаруса — не все, конечно, не про чувства, а про то, как ехала туда среди ночи; я лишь приоткрыла самый краешек того, что между нами происходило. Но рассказала все равно слишком много. Нужно было осторожнее выбирать собеседника. Там, на крыльце, где мы сидели бок о бок, чувствуя перемену погоды, соприкасаясь коленями, я обронила случайно, что мы встречаемся, только когда темно, и сделала это напрасно. Возможно, подсознательно это меня раздражало. Но стоило сказать это вслух, как я поняла, что не нужно было.

— Тебя это не настораживает? Обычно ты подозреваешь всех и во всем, а тут ничего, все в порядке? Да ясно же, что существует нечто такое, чего твой Лазарус не хочет тебе показывать. Черт возьми, хотел бы я так поступить с Айрис. Но у меня бы не вышло. Я в темноте, наоборот, виден лучше со всеми моими странностями.

Он решился показать мне самое главное. То, о чем еще никому не рассказывал. Я тогда подума-

ла, что, похоже, он хочет открыть мне свою тайну, свою загадку. Кажется, мне не очень хотелось ее узнать. Но Ренни решился.

Это все было слишком интимно. Мне захотелось уйти в дом. Закрыть дверь и остаться одной. Сказать, что ничего мне не нужно показывать. Что я только с виду кажусь такой — внимательной и отзывчивой. Тем не менее я осталась сидеть рядом с ним неподвижно. Будто заледенев.

Ренни снял перчатки. Я слышала, как он их снимал: он застонал от боли. Они прошуршали по коже. А потом я увидела *это.* И оторопела. Кожа у него мерцала, вспыхивая крохотными зеленовато-желтыми искрами. Это было потрясающе и по-своему очень красиво. Увидеть это можно было лишь в темноте — золото, которое вплелось в живые ткани, будто золотые нити в гобеленовую основу. Поверхность участков, где остались следы от кольца и часов, была неровной, как будто металл, проникая в кожу, сначала потек. Я поняла, почему Ренни боится любви так же сильно, как ее желает: ночью он не совсем походил на человека.

— Мне хотели это удалить, но сделали биопсию, и оказалось, что золото влилось в подкожные жировые ткани. Ничего нельзя сделать.

Я осторожно взяла в ладони его руку. Мне хотелось плакать. Я подумала: есть ли на свете люди, которые сумели справиться с бедой?

— Значит, ты у нас золотой мальчик. Значит, ты лучше тех, кто просто из плоти.

— Ага, вот именно. Золотой. Урод.

Ренни поднялся, чтобы включить свет на крыльце. Он так и стоял ко мне спиной, пока надевал перчатки.

— И он тоже такой же. Дружок твой, Лазарус.

Подобные понимают подобных. Что правда, то правда. Ренни повернулся ко мне лицом.

— Он что-то скрывает, — сказал мой друг.

Не нужно было рассказывать. Не нужно было сочувствовать. Соваться в его дела.

— Надеюсь, если он что и скрывает, то это так же прекрасно, как твои руки.

Ренни посмотрел на меня, как на полную идиотку.

— Ты что, не понимаешь? Человек не скрывает того, что считают прекрасным. Скрывают уродство. Прячется тот, кто превратился в монстра.

Мы поменяли тему, но было поздно. Зароненная мысль дает всходы, хочешь ты этого или нет. Я стала представлять себе разные уродства.

— Как ты думаешь, что едят кроты? — спросил

Ренни в машине, когда я повезла его обратно в университетский городок.

Конечно же, он решил оставить крота у себя, превратить это незрячее раненое существо в домашнее животное. И как это будет выглядеть? Крот научится говорить? Подарит Ренни три желания? «Избавь меня от золота, сними с пальца кольцо, сними часы с запястья».

— Может, червяков? — предположила я. — Брат мой знает, но он слишком занят, чтобы просто так поболтать со мной.

— Червивый пудинг, — хмыкнул Ренни. — Червивый кекс.

— Может, в зоомагазине есть для них корм. Или можно еще заехать к Эйксу. У него, похоже, продается вообще все на свете.

Я вспомнила, как Нед кормил летучих мышей, которые жили у нас под крышей. Он делал кашу из меда, какого-нибудь жира и очистков от фруктов и ставил миску в дождевую канавку. Я пряталась с головой под подушку, а он смотрел на них из окна.

«Они ничего не видят, но знают, куда лететь, — говорил брат. — У них острый слух. Они могут найти дорогу в абсолютной, полной темноте».

В университетском дворе ночью было тихо.

У меня появилось чувство, что я зря привезла туда Ренни. Вид у него был пришибленный. Двор спального корпуса выглядел ухоженным, идеальным, а Ренни — руина руиной. Будь я настоящим другом, связала бы ему другие перчатки, из травы и кротовой шерстки, и он бы их надел и исцелился бы за три дня. И первая девушка, которая прошла бы мимо него возле кафетерия, влюбилась бы в него, и это была бы Айрис Мак-Гиннис. Айрис посмотрела бы ему в лицо, заглянула бы в душу и увидела там, как Ренни ее любит, и так растрогалась бы, что не смогла бы удержаться от слез.

Ренни сунул руку в карман и достал крота. Он все правильно про меня понял. Я, конечно, решила бы, что крот мертв, и сунула бы в ту же коробку, где лежал, как скукоженный листик, первый. Я не догадалась бы проверить, бьется ли сердце.

— Живой, — сказал Ренни.

— Чего еще и желать. Правда же?

— Забудь, что я сказал про Лазаруса. Наверное, я просто завидую, что ты нашла себе кого-то.

Как будто про такое можно забыть. Если можно было где-то найти какой-нибудь негатив, то я так в него и вцеплялась. Как в спасательный плотик,

который я себе плела из сомнений и страхов.

— Само собой. Не волнуйся. — Я постаралась, чтобы это прозвучало непринужденно. — И это не значит, что я попытаюсь поскорее отделаться от твоего храма. Ренни, я не влюбилась. Абсолютно точно — нет.

— Я за тебя рад. Как бы это там ни было. Честное слово.

Он действительно был за меня рад. Несчастный, он не утратил способности радоваться за других.

— Мне нужно забыть про Айрис. Это была дурацкая затея — подарить ей храм. Да еще надеяться, а вдруг я смогу быть ей нужным. Зачем ей чудовище.

— Ты не чудовище.

Я почувствовала жжение в углах глаз. Видимо, так у меня проявилось сочувствие. Которое мне было ни к чему.

— Послушай, Ренни, у тебя в жизни еще найдется девушка, пусть не Айрис, которая будет считать тебя совершенством, несмотря ни на что.

Он повернулся ко мне, и по его лицу я поняла, что, несмотря на все, что говорил, он еще не утратил надежды. Он хотел верить.

— Можешь мне поверить, — сказала я.

— Возможно, ты и права, — задумчиво протя-

нул он.

— Ты и сам знаешь, что права.

Я сама себе тогда поверила. Ренни вылез из машины и пошел задом наперед, глядя на меня и махая на прощание рукой.

— Монстры всего мира, объединяйтесь. — Он потряс кулаком в перчатке.

— Иди-ка ты учи уроки, — крикнула я.

Он пошел к себе в спальный корпус. А я осталась одна, однако не совсем в одиночестве. Со мной остался тот самый вопрос, который мне задал Ренни и который я задавала теперь себе. Что, если Лазарус и впрямь что-то скрывает? Что, если он на самом деле чудовище? Я только было начала думать, будто его знаю, но вдруг это лишь игра моего воображения, а он действительно какой-нибудь медведь, или змей, или шипастая жаба? Чем больше я думала, тем больше сама себе удивлялась. Можно ли по-настоящему узнать кого-либо? А если и можно, то не разорвется ли от этого знания сердце?

И вместо того чтобы ехать домой, я отправилась в библиотеку. К черту всех. Мне всегда было хорошо и спокойно в обществе литературных персонажей, а от их прототипов голова шла кругом. Заднюю дверь я открыла, а потом заперла

за собой своим ключом. Внутри в здании было сыро и жарко — ничего удивительного, что в старых изданиях страницы желтели. Я включила настольную лампу. Желтый маленький круг над столом. Фрэнсис всегда оставляла стол в полном порядке, так что я постаралась ничего не трогать. В зале было довольно душно. Днем включался старый кондиционер, взметая пыль, а теперь она оседала в воздухе. Я закашлялась, и звук этот отозвался эхом.

На столе у Фрэнсис стояли фотографии в рамочках: племянники и племянницы, черный пес по кличке Гарри и каналы в Венеции, которые фотографировала она сама в прошлом году, когда ездила туда в отпуск. На моем столе не было ничего. По крайней мере, на посторонний взгляд. У меня была всего лишь одна, невидимая фотография, которую я возила с собой, куда бы ни отправлялась, — старая фотография, где стояла на крылечке маленькая девочка, только что топнувшая ножкой, маленькая ведьма с черными, рассыпанными по плечам волосами; где в воздухе висел белый, похожий на клуб дыма пар от ее дыхания и застыли над головой звезды и где лед на крылечке сиял и сверкал ярче звезд.

В библиотеке было так тихо, что я слышала,

как жуки бьются об оконную сетку. Слышала какие-то вздохи, как будто это вздыхали книги на полках. И я поняла, что здесь мой дом. И здесь моя жизнь. А все остальное, что со мной произошло и произойдет, — это просто сон или вроде того. А потом я услышала, как что-то стукнуло. Я затаила дыхание. Звук был вполне реальный. Я очнулась от грез. Вероятно, мне все-таки, несмотря ни на что, хотелось жить. Вероятно, мне нравился этот мир. При мысли о том, что кто-то пытается взломать дверь, я испугалась. У нас никогда ничего не запиралось и не пряталось, и воровать у нас было нечего. Так что если какой-то псих решил обокрасть городскую библиотеку, то, значит, от него можно ждать чего угодно.

Я попятилась задом в угол, куда не доставал свет. Но тут вдруг что-то лязгнуло, и я с облегчением вздохнула. Дверь царапал не взломщик. В этот момент я сообразила, что кто-то просто приехал вернуть книгу и опустил ее в ночную корзину[14]. Не более того. Я выругала себя за тупость и направилась к двери. Бояться мне было нечего. Сквозь дверное окно я увидела женщину в чем-то белом, которая удалялась по бетонной

---

[14] Примечания: 14
Корзина или ящик под щелью в двери для поздних посетителей.

дорожке. Она была босиком. У нее были светлые волосы, и шла она быстро. На улице ее ждала машина с невыключенным мотором. Ночь была темная — черная, как спинка жука. Я узнала эту женщину, только когда она открыла дверцу и зажегся свет в салоне. Это была моя невестка.

Я смотрела ей вслед до тех пор, пока машина не свернула за угол. Сердце бухало. Быстро. Громко. Я всю свою жизнь жила так, как будто была соучастницей преступления. Так что в этом моем состоянии не было для меня ничего нового. Убийца, предательница, лгунья, копилка чужих секретов. Я была подмастерьем у Смерти, так что от меня не требовалось даже, чтобы я что-то умела сама. Дура, прислужница, чье малейшее, любое движение всякий раз заканчивалось чьей-то гибелью. Достаточно было одного шага, одного желания, одной ошибки, одной холодной ночи. Мало мне было этого, а теперь еще и Нина, моя невестка, нажала на газ и скрылась, как преступница, в ночной темноте. Я сообразила, что белое одеяние — это ночная рубашка.

Книга, которую она бросила в ночную корзину, еще хранила тепло Нининых рук, когда я ее подняла. Я взяла ее и вышла через заднюю дверь, туда, где на улице стояла моя машина. Я

проехала через весь городок, мимо университета, и, наверное, не случайно дорога привела меня к дому брата. Я хотела убедиться, что ошиблась и что это сейчас не Нина приезжала в библиотеку, а похожая на нее женщина. Кое-где на улице в окнах еще горел желтый свет, в тех домах шла жизнь. Окна в доме у моего брата все были темные. У него все спали. Все были дома. Рядом с домом на подъездной дорожке стояла та самая машина, которую я только что видела у библиотеки. Вполне возможно, она там стояла с утра; я и сама толком не понимала, нужно мне это знать или нет. Выйти и потрогать капот, теплый он или холодный, я не рискнула.

Я встала под фонарем, выключила мотор и, наклонившись над книгой, прочла название: «Сто способов покончить с жизнью». То самое пособие для самоубийц, к которому я нередко обращалась в Нью-Джерси за справкой, если мне звонил Джек Лайонс. У меня перехватило дыхание. Я-то думала, что подобные всегда узнают подобных, но, похоже, совершенно ошибалась.

Я смотрела, как над газоном летают жуки. И мне стало любопытно: если это сейчас была Нина, то, когда она вернулась, когда юркнула под одеяло рядом с моим братом, заметил ли он ее

отлучку, почувствовал ли, что у нее холодные ноги? И тогда же я вдруг вспомнила, что за день до маминой смерти он целый день мастерил для нее подарок. Он сделал книгу из альбомной бумаги, скрепленную обувными шнурками. Когда я спросила, что это такое, он сказал, что это история его жизни. «Какая глупость», — фыркнула я. И даже не посмотрела, обидела его или нет. «Кому это интересно?» Я так сказала от зависти. В восемь лет я уже понимала, что книги способны все, что угодно, сделать реальным. Мой брат сделал реальной свою любовь, и это ее, сотворенную из бумаги, прошитой шнурками, он протягивал маме. Потому я его и обидела. У меня ничего не было. Мне даже в голову не пришло приготовить ей подарок. Я про него забыла.

Дом, в котором мы жили в Нью-Джерси, весь бы уместился в теперешней гостиной в доме брата. Теперь у него был шикарный дом, и это видно было даже в потемках. Вплоть до того самого момента я думала, что они в этом доме, мой брат и его жена, по ночам спят крепко и сладко, без дурацких снов, как положено настоящим ученым. Я долго смотрела на их дом, а потом вдруг увидела женщину, которая стояла в его тени на траве. Жену моего брата. В ночной рубашке она почти

слилась со стеной. Но она там стояла. Нина. Она стояла не двигаясь. Мне захотелось побыстрее уехать, пока она меня не заметила. Я повернула ключ зажигания, включила поворотник. Может быть, я ошиблась, может быть, это была игра воображения, но когда, разворачиваясь, я оглянулась назад, то она смотрела как раз на мою машину, и, похоже, без всякого страха. Смотрела как будто бы сквозь машину и сквозь меня, как будто я ей неинтересна, как будто жизнь ей неинтересна, как будто все то, что придавало ей смысл, вдруг растворилось и стало невидимым.

ГЛАВА 4
ИСТИНА

I

Люди прячут свою истинную природу. Это я понимала, я это даже приветствовала. Действительно, что бы у нас была за жизнь, если бы все ходили душа нараспашку, рыдали бы где попало, давали по физиономии всем, кто, с их точки зрения, заслуживает порицания, и откровенничали бы с первым встречным? Застегнись на все пуговки и живи; пусть видят только одежку, другого никому и не нужно. Моя невестка была тому образцовый пример: улыбающаяся, математик, умница, чуть ли не идеальная жена, по ночам она изучала сто способов, как отправиться на тот свет, и, когда добрые люди спят, гоняла в машине по городу в одной ночной рубашке. Я решила не говорить ей, что видела ее у библиотечной двери. Я была притворщицей, как и все, и всегда готова была сделать вид, что знать не знаю ни про какие трещины, которые дала чья-то жизнь, ничего не знаю ни про поздний час, ни про библиотечный ящик, ни про страшную книгу, которая попала ко мне, еще храня тепло ее рук.

Первым значился абсент — разумеется, употребление. Автомобили (см. *авария, асфиксия*);

анемия, вызванная анорексией; анонимия; артерии основные (см. *ножи, бритвы, шариковые ручки),* асфиксия; барбитураты (толченые, как добавка в пудинг или яблочный мусс для ускорения пищеварения); белладонна; болиголов; веревка (см. *повешение*); вода (см. *утопление*); выпадение из окна (с восьмого этажа и выше); героин; гибельные желания; дурман (см. *растения ядовитые*); корень фитолакки; лед (см. *замерзание*); морозник черный (заваренный как чай); мотели; мышьяк; мята болотная; нахождение в ненужное время в ненужных местах; общественные туалеты; огнестрельные ранения; «оксиконтин»[15]; пакеты пластиковые, надетые на голову (см. *смерть по двойным причинам, передозировка*); плиты газовые (см. *спички*); пожар; полицейская провокация (см. *погоня, попойка, публичное столкновение*); пруды и озера (см. *вода*); стимуляторы; сумах ядовитый (размолотый в порошок и добавленный в суп или чай); транквилизаторы; удушье (см. *автомобиль, авария, асфиксия*); укусы пчелиные (см. *осы, рой, аллергии).*

После той ночи возле библиотеки я видела Нину только мельком — один раз на рынке, другой в

---

[15] Примечания: 15
Опиумный анальгетик.

кафетерии, где мы обедали с Ренни, — и оба раза она бодро помахала мне рукой. И я ей в ответ помахала, сразу вернувшись к своим делам, как будто я в глаза не видела книги, которую вернула на полку, как будто это не моя невестка стояла на ступеньках библиотеки в одной ночной рубашке. «Помоги себе сам» — так называлась серия, к которой как раз и следовало бы отнести эту книгу.

Истинная же причина заключалась в том, что мне не хотелось вмешиваться. С какой бы стати я стала влезать в чужую жизнь, указывать, направо повернуть или налево, ехать ли ей дальше или съезжать с дороги? Если бы влезла, наделала бы ошибок. Безусловно. Кто знает, куда заведут твой совет, твое сочувствие, твоя любовь? Стоит только раз попробовать, потом будет поздно. Так вышло с Лазарусом. Стоило Ренни бросить мне одну только мысль о сомнении, крохотном, не больше бисерины, и вот меня уже душила целая их нитка — красный жемчуг, пусть невидимый для моих глаз, но на горле вполне ощутимый.

Кто такой Лазарус? Этот вопрос теперь меня мучил. Как понимать, если твой любовник встречается с тобой только в потемках? Если он скрывает не только свою сущность, но и нечто в своей наружности? Это уж точно ничего хороше-

го не означает, и доверять ему нельзя. Видимо, есть что скрывать, коли он так уверен, что если я узнаю правду, то отвернусь от него. Как же легко все испортить. Такими штучками. Красный жемчуг. Истина, правда. То, чего и не хочешь знать, что тебе вовсе не нужно, а ты трогаешь это. Берешь в руки, как жгучую крапиву, или осу, или осколок стекла. Разбираешься. Потом приходится жить с этим всю оставшуюся жизнь.

Всякий раз, когда я спрашивала у Лазаруса, каково это — умирать, он только смеялся. «Я же тебе сказал, что об этом мы не будем разговаривать». У нас он устанавливал правила: *это* не будем, *то* — будем. Всю ночь до рассвета — пожалуйста, но не при свете дня. Только я не отступила. А когда я отступала? Я канючила, ныла, будто капризная жена, будто ребенок, который не желает внимать увещеваниям. Топни, девочка, ножкой. От злости разорви волосок. Добивайся, чего захотела. Не отступай. Хнычь, проси, поплачь.

«Родные тебя встречали? Там черная дыра? Это долго до бесконечности или всё раз, два — и — как кролик у фокусника: накрыл платком — и тебя уже нет, нет, нет?»

Он рассмеялся. В ту ночь жара не спадала, было градусов тридцать семь, и мы сидели в кухне, где

попрохладнее. На Лазарусе была белая рубашка с длинными рукавами. Только тогда я сообразила, что она всегда застегнута на все пуговицы.

— Как насчет того, чтобы здесь и сейчас?

Лазарус обнял меня, прижал к своей горячей груди и шепнул это мне прямо в ухо. Даже шепот у него был горячий, и я от него сразу же начала плавиться. Я чувствовала телом его тело, ногами — его ноги и в тот момент снова поверила, что я его знаю. Отчасти. Пыл, ночь, трах, чмок, кожа, упругость, жар. Его руки, которые я трогала в темноте. Его ребра. Лесенка, клетка, его, моя. Жар и биение у меня внутри. Слова, которые он говорил, которые и словами-то не были. То, как он их говорил. То, как он меня желал. Разве всего этого мало? Разве это не могла быть любовь? Вся наука любви говорила «за»: сердце — бухает, мозги — готовы поверить во все, что угодно; она — с нетерпением ждет темноты, желая его и на расстоянии, готова в любое время прыгнуть в машину и мчаться по ночным дорогам. Еще нужны симптомы? Учащенный пульс, смещение центра личности вниз, в брюшную полость, основание, основа, бездумье, безделье, выход из одиночества, растворение себя, растворение границы, отсутствие различия между внешним и внут-

ренним. Все признаки налицо. Доказательства эмпирические.

Но она все равно была. Власть одной-единственной мысли, случайно забредшей в мою бедную голову. Что он прячет, чего не прячет. Будто крутилась бесконечная пленка, а я никак не могла найти перемотку. По-птичьи чирикало, по-кротовьи шелестело: «Узнай, выясни».

Не здесь ли центральный момент любого сюжета? Поиск истинной сути. Стремление знать. Прочь тюленью шкуру, ослиную шкуру, ощипать перья, разбить цепь. При лунном свете, при звездном свете, фонарном свете, при свете синей медицинской лампы. Разве не этого хотят все и всегда: видеть и слышать? Сними повязку с моих глаз. Вынь камешки из моих ушей. Поверни меня два раза кругом. Все расскажи. Забудь про последствия. Не думай про цену. По крайней мере, до тех пор, пока не наступит пора платить. Пока расплата не застит тебе глаза, не закроет слух, не спалит тебя заживо.

В следующий раз, приехав к Лазарусу, я потихоньку обследовала в гостиной книжные шкафы, пока он в кабинете занимался делами. Разбирал счета. Пил чай со льдом, мной приготовленный. Работал. Он мне доверял. Мне, одной-единствен-

ной. В шкафах было пыльно. Все в этой гостиной было пыльное. Синий свет, фонарный свет. Его книг давно никто не касался. Я библиотекарь, и мне нетрудно определить, где книги читают, а где нет. Если на них толстым слоем лежит пыль, как тут не угадать, что они стоят забытые и ненужные? Я переходила от шкафа к шкафу. Главным образом это были книги по странам. Путеводители по городам Франции. Музеи Нью-Йорка. Перуанские поселения. Целый шкаф про Италию. Все по алфавиту, в полном порядке, в полном забвении. Музей книг.

В комнату вошел Лазарус и сразу прихватил меня за руку и за коленку.

— Готова быть со мной? — сказал он.

Он засмеялся. Я тоже.

Мне бы следовало насторожиться: мы чересчур увлеклись сексом. Не знаю, что бы это было, если бы мы могли тогда обходиться без льда, воды, без охлаждения. Нам тогда, наверное, было бы не оторваться друг от друга; наверное, мы стерли бы друг друга в объятиях в порошок, в прах, в пыль, довели бы до алого каления.

— Смотрю твои книжки.

Я отвернулась от него. Я всегда отворачивалась, если чувствовала, что что-то не так.

— Не насмотрелась в библиотеке? Да?

Он притянул меня, запустил руки мне за пояс в джинсы, коже стало горячо от его пальцев.

— Если решила мне почитать, то только постельный роман.

Он лукаво ухмыльнулся. Мне нравилась эта его ухмылка. Нравилось, что она значит. По-видимому, я вспыхнула. Наверное, лицо покраснело. Порозовело. Зарумянилось. Не от смущения. От жара. Я так его хотела, что не умела скрывать. Мы почти все время проводили в ванне, где занимались сексом, наверное, как рыбы, поднимая холодные волны, и от холода кожа покрывалась будто чешуей. В постель мы ложились поверх одеяла, на которое насыпали слоем толченый лед. Пальцы у меня синели от холода, но мне было наплевать. Они и так у меня были всегда онемевшие, чувствительность к ним возвращалась, только когда я касалась его.

Я помахала у него перед носом книжкой. Она пахла зелеными полями, красным вином, солнцем. Немного типографской краской.

— Италией интересуешься?

— Я интересуюсь только тобой.

Наверное, он думал, что я ждала именно такого ответа.

Могла бы ждать. Могла бы хотеть. Но ведь не ждала.

— Я серьезно. У тебя столько книг о разных странах. Ты ведь не собираешься исчезнуть, а? Удрать от меня куда-нибудь в Рим или во Флоренцию? Вдруг ты найдешь себе там другую женщину, какую-нибудь хорошенькую, молоденькую?

Он взял книгу у меня из рук. Кто и когда так на меня смотрел?

— Мне нужна только ты.

Я поверила. На этом и нужно было остановиться. Но колесико уже повернулось, действие началось, и мы оба сделали первый шажок туда, куда я и направилась, — к развязке, к самой опасной части сюжета, когда может произойти буквально все, что угодно.

Лазарус сдул с книги пыль и поставил на место в шкаф. Книги там стояли в порядке — город к городу, страна к стране. Он воткнул ее на полку с Южной Америкой. Ему было наплевать. В то же мгновение я поняла, что он никогда раньше не брал ее в руки. И не только эту, все остальные тоже.

— Может, нам куда-нибудь съездить?

Мне нужно было увидеть реакцию. Так дети тычут палкой в мертвого зверька. Живой или

нет? Укусит или ручной?

— Я серьезно. Куда-нибудь, где мы с тобой никогда не были, ни ты, ни я.

Он посмотрел на меня. На десять лет моложе. Мужчина, которому я не пара. Красивый мужчина. Знает ли он об этом? Неужто он не смотрится в зеркало? Или это меня он не видит? Временная, частичная утрата зрения — я не вижу красного, а он не видит ни уродства, ни обмана?

Но он все же почувствовал, что что-то не так. Напряжение повисло в воздухе, как пыль или как комары. На лбу у него появилась складка. Как будто он пытался сообразить, почему ему надо куда-то ехать, когда все, что ему в жизни необходимо, находится вроде бы здесь, под рукой.

— Эй, пошли-ка в кухню, — сказал он. — Я приготовлю тебе обед.

Вот так вот. Никакого любопытства к моим словам. Вперед и дальше. *Здесь* и *сейчас*. Обед на столе. Все как у людей.

Я шла за ним следом по коридору. Я чувствовала в себе пустоту, как будто все то немногое, что появилось во мне, вдруг кто-то взял, вынул, дунул и развеял по ветру. Я больше не сомневалась — Лазарус не читал книг, стоявших в его шкафах.

На обед он приготовил мне горячий томатный

суп. Сам он любил холодный, со льдом. Он налил себе в стакан свежего апельсинового сока.

— Витамин D, — сказал он.

Он был вынужден думать про витамины. Кожа у него была бледная, он ведь совершенно не видел солнца. Я подумала, что за время нашего знакомства он еще, кажется, немного поблек. Вспомнила про того рабочего, который опасался, не работает ли на чудовище. Я села за стол. Я не знала, о чем говорить. За окном надвигались сумерки, плыли синими волнами среди облаков. Мое сердце теперь было разбито, а я и не знала, что у меня есть сердце и что его можно разбить.

Потому-то и опасно приближаться к поворотному моменту сюжета. Можно обнаружить больше, чем нужно.

Мы сидели в кухне и смотрели в сад, куда медленно проливались сумерки. Совершенно синие сумерки. *Если* бы я хотела остаться, я бы встала у мойки и начала мыть тарелки, а он бы тем временем открыл морозилку и остудил во льду руки, а потом бы встал у меня за спиной и начал бы меня обнимать, обжигая своими руками. У меня в мойке текла бы вода. Я тоже начала бы обнимать его холодными, влажными руками. Но в тот вечер все было иначе. Мы сделали шаг к

после того; скоро, потом, дальше и *сейчас* стали терять единство.

«Это и было счастье, а мы и не знали. Понятия не имели. Прошли мимо и не заметили».

Вдруг стало больно, очень больно. Мы вдруг будто начали просыпаться от сна. В котором нам приснились эта кухня и этот вечер, где мы были нужны друг другу. Обычно, как только начинало темнеть, мы сразу уходили в нашу спальню — в ванную. Всю ночь мы были счастливы. Но в тот раз я чувствовала себя уставшей. День был долгий и трудный. А мы еще не довели дело до конца. Я сказала, что устала. Что мне нужно поспать. Я была не готова начать выяснения, по крайней мере, мне так казалось. Не была. Потому что знала, что все изменится.

— Прости, пожалуйста, — сказала я, когда он вышел на порог меня провожать.

— Простить за что?

Ни за что. За все. За то, что я собиралась сделать.

— За то, что устала.

Он сгреб меня, и я его поцеловала, да так, что обожглась. Безо льда. В тот раз безо льда. Он отпустил меня, посмотрел.

— Я не хотел сделать тебе больно, — сказал он.

Все они так говорят, а потом делают все по-своему и в конце концов, разумеется, делают больно. Я ехала домой, чувствуя себя по-сиротски.

Я что-то потеряла; я чувствовала себя точь-в-точь как в момент, когда поняла, что не вижу красного — цвета, который никогда мне даже не нравился и, я думала, был не нужен. Теперь все оттенки, в которых был красный цвет, как будто выцвели, полиняли, и не только киноварь и пурпур, но даже ржавчина стала серой, а медь и бронза, утратившие его, потускнели. Заря побелела, рубины сделались похожими на стекло.

Я перестала ему верить. Вот что я потеряла. Исчезло доверие, как камень в воде. Я не верила больше его словам, его книгам, поцелуям, взглядам, касаниям. Его супу. Я ничему не верила.

Подъехав к дому, я увидела свою кошку — та сидела возле кустов, и кончик ее хвоста дергался туда-сюда. Цветы на кустах были белые, как мел. Гизелла делала вид, что не обращает на меня внимания, пока я не подошла к крыльцу, а когда я открыла дверь, она бегом кинулась к ней. Вот ведь друг на дождливый вечер. Ей пора было ужинать. Гизелла-то знала, что ей нужно, а я, когда она терлась возле моих ног, не могла даже сказать, мурлычет она или это просто у нее от

голода урчит в животе.

Моя дверь. Мой ключ. Мой дом. Мое пустое место.

В коридоре за дверью стояла коробка с кротом — стояла сверху на другой картонной коробке, в которой у меня лежали старые газеты, пакеты из магазина и прочий мелкий хлам. Я никак не могла заставить себя похоронить крота и в то же время не могла выбросить на помойку. Я вспомнила про Ренни. Мы почти достроили храм. Оставалось кое-что закончить, и Ренни уже пару раз звонил, чтобы договориться о встрече. Но я была занята, слишком занята своими мыслями, чтобы выслушивать его рассказы про лекции или про крота, который не только выздоровел, но толстел у него день ото дня на червяках и сливках. Мы решили встретиться в воскресенье, но никак не раньше. У меня у самой были проблемы.

Я заглянула в коробку, где лежал дохлый крот. Там появилось несколько муравьев. Воняло сыростью, землей, гнилью. Запах был неприятный. Хранить это не было смысла. Я посмотрела на коробку и вдруг поняла, что все равно не могу. Вот так всегда — я цеплялась за все, за всякую дребедень. Всю жизнь.

За всякую дребедень, но только не за то, что

было мне дорого.

Вскоре после того дня я отправилась к кардиологу. Тому самому, по фамилии Крейвен. Который точно знал, что у меня есть сердце. На последнем приеме я по глупости пожаловалась ему на боль в груди, потому он в этот раз прикрепил мне датчики, с которыми я должна была ходить сутки.

— У вас аритмия. После удара молнии явление обычное, но тем не менее нельзя забывать про осторожность.

— А не может такого быть, что у меня врожденный порок, который раньше не обнаруживал себя?

Я вспомнила про жестокого андерсеновского героя, которому в сердце вонзился осколок льда.

— Сердце у вас в полной норме, учитывая обстоятельства, — ответил Крейвен. — Просто будьте осторожны. На всякий случай.

Все это время, чтобы лишний раз съездить в рощу к Лазарусу, я частенько звонила в библиотеку и сказывалась больной. Я использовала любой предлог. Тошнота, звон в ушах, боль в руке, боль в боку, боль везде. Отчасти жаловалась я честно, так что чувство вины мне досаждало меньше, чем могло бы. Может быть, виной была все же мания. Маниакальное стремление чего-то

или кого-то добиться. А тут мне само все шло в руки, как было отказаться, и ложь почти что не являлась ложью — как было не соврать? Фрэнсис Йорк ни разу ни о чем у меня не спросила, ни разу не упрекнула. В ответ на ее великодушие можно было бы и пореже проявлять эгоизм, однако я проявляла его вовсю. Так что от кардиолога я поехала прямиком в библиотеку. И едва вышла из машины и переступила порог, как поняла, что сама рада своему приезду. Что на самом деле сама соскучилась. По всем лживым, не достойным ни капли доверия байкам, которые стояли на полках, напечатанные и переплетенные.

— Тебе лучше? — спросила Фрэнсис, увидев, что я приехала сразу после врача.

Время было послеобеденное, а я если работала, то по утрам. День был сырой и душный, и старый кондиционер не справлялся.

— Я в порядке.

Да, конечно, в порядке. Только немножко больна любовью, сексом, ложью.

Фрэнсис посмотрела на меня. У нее было плохое зрение. Но видела она хорошо.

— В самом деле?

Я задрала рубашку и показала прилепленные липучками датчики.

— И тебе разрешили идти на работу?

Вот оно. Это был мой шанс, и я им воспользовалась.

— Даже не знаю. У меня аритмия. Этот мониторчик отслеживает суточный ритм. Но я себя чувствую с ним, как лошадь в упряжи. Верней, как ослица.

— Тебе непременно нужно отправляться домой отдыхать, — сказала Фрэнсис.

Я вспомнила про Фаладу, про верного коня своей хозяйки, который всегда говорил правду, даже когда ему отрубили голову. Видимо, и у меня бывали приступы угрызения совести, припадки честности. Тут он как раз и случился — когда я стояла за картотечным шкафом.

— Мне нужно вести обычный образ жизни.

До чего же я была дурой! Я сама не поняла, что имела в виду. «Обычный» — это какой, как когда? Как вчера? Как за день до маминой гибели? Или как *до того*, когда Ренни еще не успел сказать вслух, что Лазарус что-то скрывает?

Фрэнсис пришла в волнение.

— Здоровье сразу не восстановишь. Не переусердствуй.

Мне от ее заботливости было только еще хуже. Ничего странного, что я терпеть не могла

эту ее доброту, которая мне стояла уже поперек горла, так что отчасти я поэтому и прогуливала работу, только чтобы держаться подальше, — в определенном смысле для меня было бы лучше, если бы Фрэнсис злилась. Против злости у нас есть оружие — зубы и когти, а доброта окутывает, обволакивает, по рукам и ногам связывает, и никуда не деться от сознания своей вины. Я вдруг сообразила, что все, что я вообще знаю про Фрэнсис, — это только из фотографий на ее рабочем столе. Возможно, ей тоже кажется, будто она меня знает. Смотрит на мой пустой стол и делает свои выводы. Мол, бедняжка — ни фотографий, ни личных вещей, ни личной жизни. А тут еще и эта ужасная сбруя, датчики, фиксирующие каждый удар сердца; она, мол, и так-то странная — взрослая женщина, а прическа как у мальчишки, и возле стеллажей встает на колени, словно отслуживает епитимью, и бледная ужасно, — так теперь еще и это. Бедняжка. Жалко ее. Себя тоже жалко.

Мне не удавалось выбросить из головы пыльные шкафы в гостиной. Я к тому времени успела поверить, что мы с ним родные души, а теперь снова во всем сомневалась. Но подглядеть в карточку я решилась, только когда Фрэнсис поехала

за обедом. Я попросила и мне привезти салат. Сложный — достаточно сложный, чтобы точно знать, что в нашей кофейне его за две минуты не приготовить. С фетой, луком, со свежим салатом и оливками. Короче говоря, не просто что попало с красным сладким перцем.

— Ты уверена, детка, что у них это все есть?

Нет. Уверена я была как раз в обратном, в том, что ничего этого у них нет. У меня просто руки горели, до того не терпелось взять в них лопату и бежать раскапывать чужую могилу. Я подождала у окна, пока Фрэнсис отъедет, и бегом понеслась искать карточку Лазаруса. Да, Сет Джоунс и здесь брал книги по разным странам. Книги про пустыни, про Южную Америку, Рим, Флоренцию. Венецию. Я стояла, уставившись на карточку. Она была такая, как все, если не считать, что сверху стояла пометка: «Продолжение». Значит, *до того* была еще одна.

Я сунула карточку в ящик. Возвращая ее на место, я заметила рядом карточку Айрис Мак-Гиннис, той самой, про которую любил поговорить Ренни, девушки его мечты. Мне стало любопытно, что у нас здесь есть такого, чего нет в университетской библиотеке. Возможно, она просто медленно читает — у нас книги выдава-

лись на месяц, а в университете на две недели. В ее карточке значились «Одиссея» и «Илиада». Спецкурс по классике? Предпочитает мифических существ?

Вероятно, мне следовало записать номер ее телефона для Ренни, но я очень спешила. Фрэнсис должна была вот-вот вернуться. Обеденный перерыв заканчивался. Я быстренько подхватила фонарь и пошла вниз в подвал, где у нас располагался библиотечный архив. Подвал весь был заставлен коробками с сырыми книгами, не просушенными еще с тех пор, как у нас прорвало трубу и Фрэнсис, чтобы хоть что-то спасти, призвала на помощь добровольцев. Наконец в самом дальнем конце я нашла коробку, которую искала. Открыла, просмотрела карточки. Почти на всех значилась пометка «перешел на домашний абонемент по возрасту». Там были десятки карточек, пожелтевших, с длинными списками взятых и возвращенных книг, которые прочли орлонские старики, почти все старше шестидесяти пяти. Наконец мелькнуло нужное мне имя: «Сет Джоунс». Я поднесла карточку к единственному окошку, через которое в подвал попадал свет, маленькому, прямоугольному. Он брал книги о путешествиях. Африка, Гавайи, выпуски «Нэшнл

джиографик». Здесь тоже наверху значилось: «Продолжение». Я была потрясена.

Я открыла вторую коробку, где лежали совсем старые карточки. Там почти на каждой аккуратным почерком Фрэнсис было выведено «скончалась» или «скончался», а потом почерк Фрэнсис сменился чьим-то другим, и я поняла, что это карточки, заполненные предшественницей Фрэнсис. Я порылась и нашла Сета Джоунса. Дата, когда он записался на абонемент, была написана чужой рукой, бледными, выцветшими чернилами, и случилось это сорок пять лет назад. Наверное, это был дед Лазаруса. Иначе Лазарусу сейчас было бы лет семьдесят пять, если не больше. То есть он должен быть стариком, а не прекрасным молодым человеком, который почему-то редко выходит из дома; кто моложе меня на десять лет и обжигающе горяч, но у кого погасший взгляд и глаза словно присыпаны пеплом, кто скрывает что-то… В том числе кто он такой, этот Лазарус Джоунс.

К тому времени, когда Фрэнсис появилась с нашим обедом, я успела вернуть на место карточки, поставить коробки и умыться. Первую карточку Сета Джоунса я спрятала к себе в ящик стола. Фрэнсис пришлось прождать двадцать минут, пока

Рене Платт бегала за пелопоннесскими оливками в «Квик-март»[16]. Но и после этого салат не лез мне в горло. Я сказала, что у меня неладно с желудком. Наверное, потому, что один датчик давит как раз на него. Скорее всего, мне расхотелось есть из-за Лазаруса. Почему у меня всегда было чувство, будто он что-то скрывает? Жены, тайны, ослиные шкуры, комнаты, куда нельзя входить, лестницы, которые ведут в подвалы, где лежат скелет и драгоценности.

Я вспомнила про крота, который слепо рылся среди корней, пока вдруг ему в загривок не вонзились острые зубы. Я вспомнила, как в первый раз постучалась в дверь Лазаруса. Я вспомнила про «Огненное кольцо», которое местные *жители* заказывают по радио, несмотря на всю свою рассудительность. Постепенно я начинала сочувствовать людям, которые делают глупости. Если бы в библиотеку пришла Айрис Мак-Гиннис, я бы к ней подошла — если бы узнала — и похлопала бы по плечу. «Разве ты не знаешь, что есть один человек, который тебя любит и который несчастен?» Так бы прямо ей и сказала. «Как ты думаешь, кто бы это мог быть?»

---

[16] Примечания: 16
Сетевой супермаркет в США.

— Иди домой, — сказала Фрэнсис.

В библиотеке у нас были и вечерние часы обслуживания, но Фрэнсис поняла, что помощи от меня никакой. Наверное, она решила, что мне нехорошо; а я и впрямь чувствовала себя как пришибленная. Я думала про коробки и не помнила толком, заклеила я их, как было, или нет, поставила так же или нет. Мне очень хотелось, чтобы Фрэнсис никогда не узнала, что мне нельзя доверять, а если бы узнала, то когда меня уже не будет.

Я приехала домой и встала посреди дворика. Я не хотела вообще ни о чем думать. Перспективы были слишком пугающими. Я вспомнила все прочитанные раньше сказки, где муж в темноте не узнал своей истинной возлюбленной. Где он, как дурак, ложился в постель то со злой королевой, то со злодейкой сестрой, а в тот самый момент, когда он устраивался там поудобнее, его настоящую жену приковывали цепями к городской стене или волокли в лес — на забвение и диким зверям на съеденье. В детстве я не верила, что такое возможно. Нельзя так обмануть человека. Любящий человек не может не признать любимой, это же ясно и понятно. Тогда я не представляла, какие тайны могут скрываться в глубинах души

человеческой, какие формы способна принимать любовь.

Тот Сет Джоунс, на которого была заведена карточка, записался в библиотеку столько лет назад, сколько мой Сет Джоунс и не жил на свете. Так что не было ничего странного в его выборе книг — он брал то же, что все старики. Не было ничего странного и в том, что книжные полки в доме у него покрыты пылью, что книг давно никто не читал. Значит, вывод напрашивался один из двух: либо настоящий Сет Джоунс очень стар, либо Лазарус не тот, за кого себя выдает.

Теперь мне захотелось выяснить, с кем я спала все лето.

Утром я выпустила Гизеллу на день, и теперь она терлась у моих ног. Кто бы мог подумать, что здесь и сентябрь такой жаркий? Гизелла лениво направилась к зарослям сорняков, а я смотрела ей вслед. Брата в гости я не ждала, но именно он подъехал к ограде и посигналил. Машина его была точь-в-точь как та, которую я на днях видела. Я сделала над собой усилие и помахала ему.

— Говорят, ты сегодня была у кардиолога, — сказал Нед, подходя. — Старина Крейвен звонил мне.

— Любите вы заниматься не своим делом.

Оба, — сказала я.

— Я просто хотел убедиться, что твои врачи делают все, что нужно.

В руке у Неда был большой пластиковый стакан, с ним он и пошел на веранду, откуда приволок шезлонг и разложил во дворике, в моем самом ужасном дворике во всем нашем квартале. Может быть, самом ужасном во всем городе и в его окрестностях.

— У-уф, — сказал Нед, устраиваясь в шезлонге. — Весят они у тебя тонну. Ну как, одели на тебя сбрую?

— На сутки. Потом снимут.

По пути ко мне брат заезжал в студенческий клуб, и в стакане у него был зеленый чай со льдом. Видимо, его исследования совсем его замучили — вид у него был изнуренный. Он отхлебнул из стакана.

— Ты же не любишь зеленый чай, — напомнила я ему.

Должна ли я рассказать про то, что узнала? Должна ли предупредить? Защитить? Рассказать про Лазаруса Джоунса? Раскрыть свою тайну и тайну Нины? Должна ли я была сказать брату: «Твоя жена не та, за кого себя выдает. По ночам она уходит из дома, она изучает способы, как

отправиться на тот свет. Видишь ли, ей мало их знать один-два. Ей этого мало. Ей нужно сто. Она их знает уже больше, чем я, она просто специалист по самоубийствам».

— Антиоксиданты, — сказал мой брат. — Нина говорит, нужно пить три стакана зеленого чая в день. А еще есть тофу[17] и мисо[18]. Она их большая поклонница.

Вид у брата стал совершенно счастливый, как в тот вечер у них дома. Из-за одного упоминания о ней. При одной мысли. Он даже вдруг весь посветлел. Воспрянул. Он разлегся в моем шезлонге и стал смотреть в небо. Луна была то ли красная, то ли серая — понятия не имею.

— Ты знаешь, что тут у тебя есть летучие мыши? — спросил Нед.

— Очень смешно.

Теперь, когда брат полысел, он выглядел старше, но только на первый взгляд; если присмотреться, он был все тот же.

---

[17] Примечания: 17

Тофу — соевый творог.

[18] Примечания: 18

Мисо — в японской кухне паста из ферментированных соевых бобов и ячменного или рисового солода.

— Я серьезно. Крыланы[19]. Вон, за гибискусом.

Среди прочих кустов в изгороди рос высокий куст с крупными белесыми цветами.

— Так вот что это там у меня такое. Гибискус.

Я тоже подняла голову. На фоне темного неба там висело серое облачко. Мыши.

— Черт. Действительно.

— Теперь тебе нечего их бояться. Теперь у тебя нет волос. Длинных волос, — поправился брат, когда я бросила на него сердитый взгляд.

— А сам-то, — сказала я. Очень было мило с моей стороны. — У тебя еще меньше.

Нед не ответил. Он никогда не отвечал мне на грубость, и я всегда оставалась при своих.

— К тому же ты не носишь желтого и красного. А их только эти цвета и приманивают.

Я взмахнула руками.

— Кыш!

Бабушка говорила, что их так прогоняют. Что мыши боятся шума. Но те летучие мыши, которые висели в моей изгороди, и не подумали улетать, а, наоборот, как будто переместились ближе.

— Они думают, ты их зовешь, — объяснил Нед. — Для них шум все равно что любовная

---

[19] Примечания: 19

Крыланы — плодоядные рукокрылые. В отличие от летучих мышей могут достигать крупных размеров.

песнь. Потому они иногда и попадают в самолетные двигатели. Думают, будто их пытается соблазнить огромная голосистая мышь из металла, а там — бамс-бумс — столкновение, их размалывает в фарш, и конец.

Хорошее подтверждение моей теории: любовь разрушительна.

Невольно мне вспомнились Нина, книга, стукнувшая в металлическом ящике, ночная рубашка, босые ноги, невидящий взгляд.

— Если бы я вдруг узнала какую-нибудь тайну, — спросила я, — ты хотел бы, чтобы я с тобой поделилась?

— Загадки, значит?

Нед хмыкнул. Он любил всякие головоломки. Особенно математические.

— Нет. Ну правда, Нед. Мне действительно нужно знать. Хотел бы?

Брат задумался. Он был в спортивной рубашке и дешевых брюках из хлопка. Я не была на свадьбе у них с Ниной. Бабушка тогда уже заболела, и я боялась ее оставлять, а сейчас мне стало жалко, что не была.

Брат наконец надумал.

— Тайна есть сокрытое знание, — заявил он. — Следовательно, тайна не имеет отношения к

фактам, она лишь незнание.

— Тьфу, — фыркнула я и отвернулась к гибискусу.

— Речь о твоем здоровье? — спросил Нед. — Если да, то, наверное, лучше было бы знать.

Мы посмотрели друг на друга. Мы были оба в высшей степени осмотрительны. Научились еще в детстве. Хочешь спросить — спрашивай, но далеко не лезь. Хочешь прыгнуть — смотри куда. Меняй резину. Выбирай собеседника.

— Нет, я просто прохожу мониторинг. Ради спокойствия кардиолога. Я в полном порядке. Одна экстрасистола. Ну и что? Утром все это снимут.

Нед с облегчением вздохнул. Наверное, он до сих пор чувствовал за меня ответственность. В его ответственности не было никакой нужды, но он все равно чувствовал.

— Ну, теперь, когда я знаю, что с тобой все в порядке, — сказал он, — я хотел бы просто молча поглазеть на небо.

Сидя рядом с братом, я вдруг поняла, до чего мало его знаю: мы были вроде двух незнакомых людей, которых война, жестокая и кровавая, столкнула в одном окопе, но после ее окончания каждый пошел своей дорогой. На мгновение мне захотелось плакать. Когда мама уезжала в гости к

какой-нибудь из подруг, Нед мне читал. Я всегда клянчила, чтобы непременно сказки, которые, как он тогда говорил, он презирал. Я всю жизнь думала, что он соглашался, чтобы я заткнулась и не ныла. А теперь подумала, что, быть может, он и тогда чувствовал ответственность за меня или, может, и сам хотел их почитать. Может быть, он их тоже любил.

— Если бы она вдруг вернулась, мы бы узнали ее или нет? — спросил брат.

Странно было слышать это от него. Вот не знала, что и он тоже думает о таких вещах.

— Мы бы узнали ее где угодно.

Голос мой прозвучал твердо. Хотя на самом деле я не была уверена. Если бы вдруг она сейчас появилась из-за кустов, была бы она такой же, как раньше, — тридцатилетней, светловолосой, в тех же ботинках на высоких каблуках, в длинном голубом шарфе?

«Что ты там делаешь в потемках? Ты ведь не читаешь, нет? Ты так испортишь глаза. Ты так не уснешь».

Я вытянула ноги, трава кололась. Газон у меня был кошмарный.

— Узнали бы, — сказала я. — Наверняка.

— Я тоже так думаю, — согласился мой брат.

— Значит, ты точно не хочешь знать никаких тайн?

Что означал этот мой вопрос, о чем я тогда говорила? О том, что для меня не секрет, что мы узнали бы свою мать, покинувшую нас много лет назад, или о себе, о том, какая я на самом деле, или о том, какие книги читает его жена по ночам, когда добрые люди спят?

— А ты?

— А у тебя есть тайны?

Я удивилась. Нед всегда казался мне абсолютно понятным, ясным, логичным и как стекло прозрачным.

— Неизвестные факты, — хмыкнул мой брат. — По крайней мере, для тебя неизвестные. А для меня известные. По крайней мере, теоретически. Насколько я могу судить о том, что знаю и чего не знаю.

— Ладно, забудь.

Я на него разозлилась, потому что в детстве мне всегда казалось, что его больше интересуют не живые люди, а муравьи, мыши, звезды, мухи и теоремы. Я поднялась и сложила свой шезлонг.

— Спасибо, что заехал. Мой кардиолог велел мне сегодня хорошенько выспаться. Возможно, сегодня стоит его послушаться.

— Я сегодня думал весь день про Дракона, — сказал мой брат. — Никогда с ним не беседовал.

— Ты про старика в Джексонвилле? Того, который два раза умер?

Во мне вспыхнуло чувство вины за то, что тайно живу с умершим. Но если брат не хотел ничего знать, то, значит, он не хотел знать и про Лазаруса Джоунса.

— Было бы неплохо… Просто как факт. Я трижды пытался с ним связаться, когда хотел собрать материал. У него нет телефона. Наверное, лучше было отказаться от этой затеи и оставить его в покое. Сэма Уаймена он прогнал с ружьем.

Говорить о Лазарусе мне было приятно.

— Значит, ты поедешь знакомиться с Драконом? Ты ведь не из тех, кто отказывается от своих решений. Никогда не отказывался. Я тоже.

— Правильно, — сказал мой брат. — Ты права, мисс Поганка.

— Сам ты мистер Поганец, — парировала я.

Мы так разговаривали всегда, и грубость наша была нам приятнее, чем вежливость. Она возвращала нас в детство. В этом дело и было. Я повернулась к веранде. Мне не очень хотелось обсуждать человека, который умер, потом воскрес. Не с братом.

— Беги-ка ты лучше. — Брат хмыкнул и показал на стайку летучих мышей. — У-у-у! Щас как налетят!

— Фу какой!

Я припустила к дому рысцой, и шезлонг колотил меня по ребрам. Честное слово, я до сих пор боялась летучих мышей. Нед поднялся, сложил шезлонг и тоже следом за мной направился к веранде, где у меня была горка из садовой мебели, и аккуратно водрузил свой шезлонг наверх. На веранде, как и во всей моей жизни, царил полный беспорядок. Не веранда была, а помойка. Садовые инструменты, оставшиеся от прежних жильцов. Зонты. Старый ящик из-под апельсинов, в котором любила спать Гизелла. Брат углядел обувную коробку. Он был глазастый.

— А тут что?

Он открыл коробку, в которой лежал, свернувшись, будто старый лист, крот. Высохший и потускневший. Крохотный.

— Ты хотела его спасти?

Я рассмеялась. Надо же так во мне ошибаться. Бедный братец.

— Дурак. Ты что, не видишь? Я его убила.

Нед пошел в кухню и вернулся со столовой ложкой в руках. Я поплелась следом к изгороди, где

он собрался вырыть крохотную могилу. Там над кустами летали жуки. Пахло апельсинами, хотя до ближайшего сада было десятки миль. Стайка мышей парила так высоко в небе, что казалось, будто она почти достает до луны.

Когда брат опустился на колени, в суставах у него хрустнуло. Он был на тринадцать лет старше, чем наша мать. Могилу он вырыл быстро. Он умел хорошо работать. Всегда умел.

Нед взял из коробки крота, положил в землю, потом прикрыл листьями гибискуса. Я заметила, что плачу, хотя не плакала, наверное, со дня маминых похорон. Утром я верну врачу датчики, и он потом, наверное, увидит, что в ту минуту сердце у меня дрогнуло и компьютер зарегистрировал скачок. В ту самую минуту, когда мы с братом хоронили крота, а над головой висели летучие мыши. В минуту, когда я снова начала чувствовать.

И захотелось, чтобы из-за кустов вышла мама. Чтобы можно было вернуть все обратно, все, что я не так сделала, сказала и пожелала. Чтобы можно было броситься к ее ногам и просить прощения. А она не стала бы меня ругать, я это ясно почувствовала. Она меня никогда не ругала и сейчас бы не стала. Она велела бы мне встать с колен,

простить себя и забыть; сказала бы, что и не думала сердиться. Что ее сердце для меня открыто и всегда было открыто; что она осталась все та же и не стала ни на день старше; что любовь не море и не луна — она не меняется, она одна во вселенной никогда не меняется.

Правда, была одна досадная мелочь, которая мне мешала, — я была совсем не уверена, что если бы она вышла и я ее в самом деле узнала бы, то и она тоже узнала бы меня. Меня в этой взрослой женщине, которая стояла в траве, залитой лунным светом, и плакала, хороня листок, крота, любовь, сказки.

— Вот и все, — сказал мой брат.

Он похлопал руками, отряхивая с них землю, и летучие мыши передвинулись ближе.

— Ну, что я тебе говорил. Вот дурашки. Их привлекают звуки.

Он видел, что я плачу, но из вежливости не захотел об этом говорить. Как и я из вежливости не захотела говорить о том, что у него жена не та, за кого себя выдает.

— Вот спасибо, — сказала я. — А то он так бы у меня и лежал.

Брат посмеялся над моим неумением расставаться с чем-либо. Я даже мусор выносить не

любила, и газеты у меня в прихожей валялись по месяцу.

— Идем, — сказал брат.

— Ты первый.

Точь-в-точь как когда нам хотелось одного и того же — последней печенины в коробке, последней бутылки газировки в холодильнике.

Мы посмотрели на луну.

— Она красная, да?

Я хотела знать.

— Любой цвет, который ты видишь, — это есть результат преломления в молекулах воздуха. Луна серая, детка. Какой бы она нам ни казалась.

И все равно это было самое красивое полнолуние в том году. Если бы мы были в Нью-Джерси, то луна всходила бы над березовой рощей и от света ее болота стали бы коричневыми, а на тротуарах стало бы видно перелетавшие на ветру бумажки.

Наверное, она была густо-красная, как сердце.

— Если бы ты собралась там погулять, то не шла бы, а парила, — сказал мне брат.

Я думала про это, когда он уехал. Я вспомнила, как он звал меня с веранды, когда мама уехала, и как я его не послушалась. Хотя на самом деле я не могла его послушаться. Ноги у меня замерзли и не шли, мне было больно. В конце концов я все

же вернулась в дом. Тогда, в ту ночь, мы с ним оказались как в невесомости. Мы с ним стояли у окна, рядом, бок о бок — недолго, одну минуту, — и один-единственный раз в жизни видели одинаковую картину: длинную, уходившую от дома дорогу, темную линию горизонта, наше будущее и все то, что оно нам несло.

II

В следующий раз, собравшись в апельсиновую рощу, я взяла с собой свечу. Сколько женщин в скольких сказках делали так до меня? Потеряв доверие, хочешь найти ответ, о котором смутно догадываешься. Если тайна — это всего лишь неочевидные на данный момент факты, как уверял мой брат, то разве их нужно бояться? Разве страшен осколочек истины? У истины нет ни шипов, ни когтей, ни зубов. Ни хвоста, ни жала. У той самой истины, которая ждет своего часа где-то по другую сторону света. Которую ищут женщины, пытаясь выяснить то, что в глубине души им давным-давно известно, правда, неизвестно откуда.

Кроме свечи я взяла с собой спички. Они лежали в кармане, аккуратно прижатые джинсами к тазовой кости. Так что все это было не порывом, а заранее продуманным планом. Никакой случай или там стечение обстоятельств были ни при чем. Я решила, что именно этого я хочу, именно это мне нужно и, значит, именно это я должна сделать. Весь день я дожидалась вечера, как, наверное, летучая мышь, которая ждет не

дождется, когда наконец растает, погаснет в небе последний золотистый, зеленоватый луч солнца. Утром я съездила, сняла датчики, потом заехала в «Хозяйственный магазин Эйкса», где купила свечу и в соседнем ряду между стойками заметила человека, которого искалечил бульдог. О нем рассказывала мне моя врач по лечебной физкультуре. Пережив свою катастрофу, он теперь заведовал банками с краской. Я даже из соседнего ряда разглядела у него на лице шрамы — следы когтей и зубов.

— Есть оранжевая «Мандарин», — крикнул он покупателю, как будто и не осталось на нем страшных отметин.

Хотя, впрочем, может, и не осталось. Он, в отличие от многих, сумел справиться с бедой. Значит, его личная загадка состояла в том, что снаружи он был изуродован, а внутри светел и чист, как вода.

Из магазина я поехала домой, где просидела до конца дня. В животе у меня было пусто. К ужину я не притронулась. Храм все так и стоял в кухне. Позвонил Ренни, и я дала честное слово, что в воскресенье мы его закончим; в понедельник был последний день сдачи, а без макета его ждала катастрофа, нечего было и мечтать получить зачет.

В катастрофах я кое-что понимала. Так что я дала честное слово — ему, моему единственному другу. Пообещала, что мы успеем. Была еще пятница. Даже не вечер. И впереди был весь следующий день. То есть масса времени, чтобы выяснить все, что мне было нужно.

Вечер выдался темный, безлунный, темнее обычного. Я крепко сжимала руль и изо всех сил давила на газ. Флорида со свистом улетала назад, было темно и жарко, и жуки с размаху врезались в ветровое стекло. В Нью-Джерси я отлично знала свою дорогу, но когда я возвращалась в потемках после работы домой, то мне казалось, будто я потерялась. А теперь я как будто нашлась. Мимо мелькали указатели с названиями, которых я никогда не слышала, городки, где я никогда не бывала, но я тем не менее отлично знала, где нахожусь и куда спешу. В золотистый, зеленый и черный сад, туда — как летучая мышь, вопреки всякой логике, привлеченная бессмысленным шумом, хлопком, будто любовной песней.

Он меня ждал. Я вздрогнула. Я не могла усвоить, что могу быть на самом деле кому-то нужна. Я не верила в его страсть. Я увидела его в то самое мгновение, как только выбралась из машины, хлопнула дверцей и ноздрей коснулся апельси-

новый запах. В саду у него были не только жуки, но и мотыльки, комары и мелкая мошка. Кто-то из них кусался, причем очень даже больно. Я бегом побежала к веранде. Мне хотелось скорее все закончить.

— Привет.

Он поднялся с деревянной скамьи, которая простояла там лет, может, пятьдесят, если не больше. Он был в белой рубашке с длинными рукавами, в джинсах и старых ботинках. Лицо у него сияло от радости.

— Привет, — ответила я.

— Ты сегодня поздно. Я хотел накормить тебя обедом.

Все как у нормальных людей. Похоже, он этого и добивался.

Я подошла, обняла его за шею, встала на цыпочки, потихоньку загораясь.

Он отступил от меня на шаг, заглянул в лицо. Это была все та же я. Я потянулась и поцеловала его. Раз, другой, потом остановилась.

— Я скучал, — сказал он.

И поцеловал меня крепко.

В каждой сказке есть своя кровавая подоплека. У всех есть зубы и когти.

— Малыш, — сказала я.

Я его так называла. Он был прекрасен: руки, пепельные глаза, шея — всё.

— Могу сварить суп.

Он открыл передо мной сетчатую дверь. Я подумала, что запомню этот звук, наверное, навсегда. Он открывал мне дверь в *после того.* Звук этот оказался похож на дуновение ветра в безоблачный день.

— Я не хочу есть, — сказала я, как могла бы сказать голодная женщина, которая не желала в этом признаться.

Через темный коридор, мимо вешалки с куртками, с резиновыми сапогами, которые все принадлежали Сету Джоунсу, кем бы он ни был. На секунду Лазарус остановился, провел руками по моему телу, дал почувствовать, как он скучал. И я почувствовала — так остро, как всегда чувствуешь *до того*. Так же, как ледяной дождь, который барабанит по пластмассовой крыше веранды. И сердце заныло так же, как стоптанные ноги, когда снимешь обувь.

— Ты знаешь, чего я хочу, — сказала я.

Сказала, глядя ему в глаза. Он, конечно, понятия не имел, о чем я, но он-то думал, что понял. Надеялся, что понял. И в подтверждение снова поцеловал.

— Подожди минутку, — сказала я ему.

Я вошла в ванную. Едва не задыхаясь. Пыхтела, как все вруны, даже те, кто врет ради поисков истины.

Я пустила холодную воду, разделась. Встала, посмотрелась в зеркало. Волосы отросли. Кожа бледная. Я выключила свет, выключила воду. Нельзя было, чтобы он насторожился, — никакого света, никакой пустой ванны. На мне остались пятна от датчиков. На кардиограмме был виден сбой, но кардиолог сказал, что это нормально, что ненормальным сейчас был бы нормальный ритм.

Я крикнула:

— Входи.

Голос у меня был как всегда — как будто я его хотела, как будто мне было наплевать, кто он и что скрывает. К тому времени мы друг к другу привыкли и секс наш стал совершенней, по крайней мере, мы так считали. Жар теперь не обжигал, а если и обжигал, то не до волдырей. А если вдруг случался ожог, то я теперь знала, что его надо смазать уксусом, и знала, какой температуры должна быть вода, чтобы рот не растрескался от поцелуев, и знала на ощупь его в темноте, каждую его часть, все его части и его

всего целиком — человека, который вырвался из лап смерти для меня и ради меня, со всеми своими тайнами.

Я знала на ощупь ребра, веревки жил, упругость и твердость его брюшных мышц, упругость и твердость его во мне, знала губы, в точности подходившие моим, знала жар, которыми дышали его слова, знала ритм движений, влажных, льющихся, которые нельзя остановить, которых сначала кажется мало, а потом остаются только они, и ничего, кроме них. Что еще нужно? На мгновение я заколебалась. Вспомнила всех сказочных героинь, которые в темноте занимались любовью с мужьями, превратившимися в чудовищ. Со своими мужьями, в медвежьем обличье или циклопьем, заколдованными, потерявшими имя. С мужчинами в звериной шкуре, с когтями вместо пальцев, с мужчинами, не умеющими лгать, говорившими правду, и ничего, кроме правды, даже если она их убивала. С ангелами, притворяющимися людьми или не утаивающими своей божественной сущности, с мужьями, умершими, но вернувшимися с того света, навсегда изменившимися и скрывающими свои новые знания. Свое новое «я». Неотвратимость *после того.*

Он вошел в ванную уже раздетый. Я его не видела, я его чувствовала. Жар, исходивший от его тела. Шорох его шагов. Я стояла, прижавшись спиной к стене, облицованной кафельной плиткой. Я приготовилась. Он мне верил, как, наверное, крот, думавший, что кошка — это просто тень в кустах, и не разглядевший в ней хищную тварь, которая точно знает, чего она хочет, и получает это. Он ступил в ванну. Я услышала, как плеснула вода, как он прислонился к стене. Та его остужала. Наверное, унимая жар, точно стена дождя, сильного, проливного дождя.

Вода под его ногой плеснула волной. Под моими ногами был неподвижный плиточный пол. Темно было так, что я двинулась на ощупь. Ну разве не в духе жанра? Глаза не видят, а сердце ведает. Только у меня было не нормальное сердце, у меня был нарушен ритм. Мое сердце стучало о ребра, как камень. Каменное, холодное сердце… а если бы я тогда вырвала его из груди, то наверняка оказалось бы, что оно и не красное. Что это просто кусок льда. Чистый. Насквозь прозрачный.

Я взяла свечу и поставила на полочку, рядом с шампунями и мылом. Я нащупала их своими неловкими длинными пальцами. С обгрызенными ногтями. Бутылки с шампунями стукнули

друг о друга. Время остановилось. Это еще было *до того*, то самое, с чем я собиралась расстаться. Я пальцами почувствовала, что тку будущее, будто паучиха паутину. И уже соткала себе образец, про который подумала, что я его вижу.

Когда я зажгла спичку, она вспыхнула так ярко, что на мгновение я зажмурилась. Я думала, так будет легче, лучше, чем если включить верхний свет, — и ошиблась. Свеча загорелась, взметнулся язычок пламени. Голубой. Или желтый. Я почти ослепла.

— Что ты делаешь?

Глаза мои еще почти ничего не видели, но я по голосу почувствовала в нем панику. Он был рассержен. Оскорблен. Я знала, что нужно на него посмотреть. Разве не этого я хотела? И я увидела, как он встает, как хватает свечу, как с него стекает вода. Капля воска упала ему на грудь, но он, кажется, этого не заметил. Он погасил пламя голыми пальцами. Я услышала запах кожи.

— Вот как, — сказал он. — Значит, вот как.

Он, горячий, вдруг стал остывать. Мне показалось, будто меня предали. И не будто, а так оно и было. На что я рассчитывала? Что я наделала?

То, что он скрывал и что я увидела мельком, продолжало стоять в темноте перед глазами. Ка-

жется, это называется клеймами. Память сильнее реальности, она подсовывает картинки, которые заслоняют реальность. Я до сих пор их вижу.

Тело у него было сплошь покрыто рисунками, которые называются «знаки молнии». Я читала про них в той книге, что мне давал брат. Чаще всего они напоминают ветвистое дерево. Никто толком не знает, действительно ли это отметины, или же это просто кровеносные сосуды, проступившие по неясной, но вполне реальной причине. Часть исследователей выдвинула предположение, что эти «знаки» представляют собой фотооттиск, возникающий в результате воздействия мощной вспышки света; сходные рисунки появляются на стекле при воздействии на него мощным электрическим разрядом. Изредка среди ветвей отмечали пятно, похожее на оттиск ладони, один раз было зарегистрировано уникально сложное по форме пятно, выглядевшее точь-в-точь как карандашный рисунок, где были изображены сарай и возле сарая лошадь; а еще в одном случае сквозь кожу проступил портрет жертвы молнии. Все эти случаи были зафиксированы в соответствии с научными требованиями.

— Не разглядела? Хочешь еще посмотреть? Давай! Смотри!

Как был мокрый, он вылез из ванны. Включил верхний свет. Я отвернулась, холодная, недостойная, лживая рыба. Я увидела зеркало. Оттуда на меня смотрела белая, как стена, женщина, упорно, старательно и небесталанно губившая свою жизнь. Я схватила полотенце, прикрылась. Мне хотелось плакать. Дело было сделано, вернуть или исправить ничего нельзя. Я ведь как будто всегда это знала… Неужели? Лед на крыльце, машина на льду, произнеси желание, зажги свечку, погуби жизнь.

Отметины, похожие на ветвистое дерево, украшали его руки сверху донизу. Его руки, которые я так хорошо знала на ощупь. Перевитые веревками жил.

На одной руке среди веток был дрозд, взъерошенный, собравшийся взлететь. Ветками Лазарус был разрисован так, будто он лишь наполовину был человек, а наполовину дерево.

— Прости, — сказала я.

Вот так просто. Все просто. Перед ним стояла нечестная, недостойная, лживая сука, содрогаясь от одной только мысли, что она наделала. Но было поздно что-нибудь исправлять.

— Ну нет. Давай доводи до конца. Смотри!

Он схватил меня за плечи. Это было не самое

страшное — злой рывок, обжигающие руки. Страшнее был голос — изменившийся, какого я *до того* не слышала, только разве что в самые редкие, в самые темные наши мгновения. Когда Лазарус забывал про все — про меня, про правила игры, — когда помнил лишь про себя. Про себя и для себя. Каким бы он ни был. Кем бы он ни был.

— Смотри!

В голосе слышалась угроза. Слышалось завершение. И что-то еще. Может быть, облегчение… Облегчение оттого, что наконец можно не прятаться. Можно повернуться к кому-то спиной. Но когда он повернулся, я снова сделала то, чего как раз делать было никак нельзя, — я ахнула; а ведь дала себе слово, чтобы бровью не повести, что бы я там ни увидела. Неужто это мне и было нужно? Он — настоящий, подлинный, тайный, спрятанный от чужих глаз.

На его спине оказался теневой отпечаток лица. Черно-серое, с заштрихованными тенями изображение человека, явно старше Лазаруса, с испуганными глазами и полуоткрытым ртом.

Я все поняла, едва только увидела, не зря я давно стала специалистом по таким вопросам. Несмотря на то что мне было известно сто способов, а этот оказался сто первым. Тем не менее

я сразу увидела, что это лицо человека, запечатленное в момент его гибели.

— Довольна? — спросил Лазарус.

Да, я была довольна, правда не знаю насколько. *До того,* разумеется. *До того* — это время, когда я пребывала в неведении, когда у меня было что-то значимое, что-то дорогое, что-то, чего я хотела и что превратилось в пепел от одной спички. Сколько раз в сказках меня об этом предупреждали? Не нужно никакого света, не нужно ничего выяснять, просто верь, доверяй не глазам, а сердцу. Оставь спички дома. Оставь все как есть.

Я подумала, как же вцепились бы в Лазаруса наши исследователи. С каким восторгом они приволокли бы его в смотровую, поставили перед белым экраном и снимали бы, слева и справа, а он стоял бы перед ними, обнаженный, прекрасный, совершенный, моя погибель, мой Лазарус, вернее, Лазарус, прежде бывший моим. Вот он и настал — момент раскрытия истины, открытия истинного лица, но только не лица Лазаруса, о нет. Моего. И я там стояла. Босая. На холодном полу. Где скопились холодные лужи, куда вела красная, невидимая для моих глаз нить, и я не знала, что это была любовь, до тех пор, пока не вспыхнул свет. И не понимала, что чувствую,

пока не пришел конец.

— Теперь ты знаешь, — сказал Лазарус, — кто я такой.

Он вышел из ванной, хлопнув дверью. Я слышала, как из крана капает вода, как за окнами шумит ветер. Слышала свое судорожное дыхание.

Я оделась. От холода меня все еще била дрожь. Я тоже вышла из ванной. В голове было пусто. Мысли все улетучились. На крыльце, где он стоял, воздух дохнул в лицо жаром. Небо хмурилось, звезд не было. В воздухе витал запах красных апельсинов. Неужели еще не делают духов с таким запахом? Давно пора. Я бы купила, хотя не люблю духов. Но я бы купила флакончик: один с запахом апельсинов, второй с запахом голубоватого льда, третий с запахом слез и еще четвертый, с запахом до того горячим, что обжигает до смерти. Не по-настоящему до смерти, а так… будто паришь над собой, но остаешься жить.

— Уходи и больше никогда не возвращайся, — сказал Лазарус. — Можешь говорить им что угодно. Обзвони хоть все газеты. Я тебе не указ. Можешь всем описать мою проклятую отметину.

— Это просто фотоэффект. Я читала про такое. Вероятно, результат воздействия на кожу очень

яркой вспышки.

— Да что ты говоришь? — Лазарус едва не рассмеялся. Но не рассмеялся. — Черт, а я-то думал, что это мне одному такое наказание.

— Может, это я твое наказание, — сказала я.

— Ну да, во всем виновато красное платье.

Во всем, что привело нас к концу? Или *во всем,* из-за чего было начало? В голосе у него больше не было злости. Осталась горечь. Растерянность. Я знала, что это такое. Это черные деревья, это дорога, которую ищешь и не можешь найти. Лед, который падает с неба и грохочет, как камни.

Жуки стукались о стекло на веранде, и у меня снова громко стучало в затылке. Всю жизнь я только тем и занималась, что все разрушала. Как же мне хотелось вернуться назад, туда, где платье сброшено, свет потушен, дверь распахнута и машина стоит на дороге.

— Я чувствую его каждую секунду, — сказал Лазарус. — Я знаю, что это. Как ты там его ни называй. Это мое проклятие.

В той самой сказке про мальчика, который не знал страха, он, дурачок, сел играть в карты с покойниками, прошел ночью по церковному кладбищу, но даже ему не приходилось носить на себе мертвеца. Мне трудно было себе представить

тяжесть его ноши. Хотя я-то могла бы и понять.

Лазарус ко мне повернулся. Он был босиком, а стояли мы на крыльце. Мне стало страшно. *До того* и *после того* сошлись воедино. Белая рубашка на нем потемнела от пота.

— Ты ни о чем не хочешь спросить? Ты хотела все знать, так что давай. Спрашивай.

Вот так все и происходит, не правда ли? Каждый раз, в каждой сказке и в каждой жизни. Поворот вместо левого правый. Ножкой — топ. Слово сказано. Ветка падает с дерева. Гроза приходит с востока. Бабочка. Свеча. Спичка.

Я промолчала, и тогда он сам начал рассказывать. Я попыталась его остановить:

— Может, не нужно?

Стало быть, когда дело доходит до правды, я не так уж и отличаюсь от брата. Мне показалось, я вот-вот — головой вниз — упаду в тоннель, откуда нет выхода. «Я знаю, я сама хотела знать, но давай ты расскажешь мне все завтра или потом, потом, потом. Так даже будет лучше».

Лазарус сел на верхней ступеньке. В роще что-то мелькало над апельсиновыми деревьями. Там водились летучие мыши. Там стояла моя машина, немытая, пыльная, со спидометром, где циферки изрядно поувеличились с тех пор, как я

начала туда-сюда ездить. Если я не уеду, он мне все расскажет.

Я села с ним рядом. В ладонь впилась заноза — такое уж мое везение, — но я промолчала.

Сет Джоунс — настоящий Сет Джоунс, тот самый, который записывался в библиотеку, — всю свою жизнь жил и работал в этой самой апельсиновой роще. Он тут и родился, а роща до него принадлежала его отцу. Сет был хорошим сыном и всегда делал так, как сказал отец, даже когда отец умер, даже когда он сам постарел. Он всю жизнь так старательно делал все как положено, что она шла мимо, а он ее даже не замечал. Чего он достиг? Апельсины у него были прекрасные, имущество его никогда не закладывалось, рабочие у него все были честные, а сам он был здоров и благополучен, хотя когда ни свет ни заря просыпался по утрам в своем доме, то, бывало, конечно, ломило руки и ноги. По-видимому, этого человеку достаточно.

Только вот оказалось, что недостаточно.

И Сет Джоунс — настоящий, подлинный Сет Джоунс — больше всего на свете пожелал поменяться с кем-нибудь местами. Он устал быть собой. Он хотел путешествовать. И увидеть те страны, о которых читал, о которых мечтал всю

свою жизнь.

За один год такой жизни он был готов отдать половину всего, что имел.

А потом случилось — как обычно все и случается, то есть когда ждешь меньше всего, — случилось так, что в хозяйственном магазине у них появился наемный рабочий, молодой человек лет двадцати пяти, крепкий, здоровый, бродяга, который всю жизнь скитался, переезжал с места на место. Сирота, который воспитывался в чужой семье, у кого всегда все было временно и ненадолго. Башмаки у него были стоптанные, в кармане в жизни не лежало больше ста долларов, да и те, когда появлялись, он сразу же тратил на билет в следующий городишко. Хоть ему и было всего двадцать пять, но он устал. Слишком много уже он видел городов, дорог, женщин. Он очень устал. И мечтал осесть, обзавестись домом, садом, где деревья вросли в землю корнями, грезил о земле, которая лежит себе на месте, а не уходит под ногами назад.

Однажды, в обычный день, такой же, как и все остальные, он привез на плантацию грузовик мульчи, что было для него обычным делом, входившим в его обязанности. Единственная разница заключалась в том, что, доставив груз, он

не пошел обедать и не уехал сразу. Он услышал благоухание апельсиновых деревьев и решил прогуляться. Дошел до пруда, постоял на берегу. У него мелькнула мысль утопиться, но он знал, что в последний момент душа всегда выбирает жизнь. Ему пришлось с малых лет скитаться по чужим углам, он всегда старался работать как можно меньше и нигде не задерживаться. Тем не менее при нем была его молодость, его красота и здоровье. Наверное, человеку этого должно быть достаточно.

Но вот оказалось ведь, что недостаточно.

Сет Джоунс увидел возле пруда незнакомого человека, который вдруг встал на колени. Вероятно, он решил, что тот молится, хотя на самом деле молодой человек костерил тогда все на свете. Наверное, он послан ему свыше, решил Сет Джоус. Порядочный молодой человек, который просит наставления свыше. Сет Джоунс подошел к нему и предложил сделку, от которой ни один человек, если у него не водилось больше ста долларов, в жизни бы не отказался. «Всего один год — ни днем больше, и я отдам тебе за это половину всего, что имею». Они ударили по рукам.

Молодой человек уволился из магазина. Забрал из мотеля вещи. Вещей у него было немного, так

что и времени на это ушло тоже немного. В назначенный день он взял такси и на нем приехал в апельсиновую рощу. К его приезду все было подготовлено и записано: где договариваться о найме рабочих, где лежит чековая книжка и образец подписи «Сет Джоунс», сколько стоит бушель апельсинов, ящик апельсинов, грузовик апельсинов. Его никто не должен был видеть, пока Сет Джоунс будет разъезжать по Италии (он собирался начать с Италии), а потом по всем странам, о которых мечтал. Молодой человек при этом чувствовал себя так, будто старик его усыновлял. Возможно, это и было его истинным желанием: чтобы его кто-нибудь усыновил и дал бы ему половину всего, что имел, а потом уж он жил бы, как бог даст.

День был пасмурный, вдалеке гуляла гроза. Земля была влажная, а воздух неподвижен. Хорошо уходить в такой день. Хорошо в такой день оставаться дома.

Когда все это произошло, они шли по саду. Пел дрозд. Воздух пах апельсинами. Они молчали, каждый в предчувствии целого года новой жизни, который ждал впереди. Наконец они сделали последнее из тех дел, что собирались сделать: переобулись и обменялись башмаками. Новый

хозяин взял старые поношенные башмаки, которые Сет Джоунс носил лет пятнадцать, в которых ноги не уставали. А Сет Джоунс обулся в легкие башмаки бродяги, в которых можно идти далеко-далеко.

Гроза была от них не меньше чем миль за сто. На западе. На северо-западе. Далеко. По крайней мере, так им показалось. А потом все случилось — так, как это всегда бывает: когда ждешь меньше всего. Ударил гром. Молния выжгла яму в земле. Бродяга тогда упал замертво, сердце его остановилось. Он взлетел над собой и парил, как парят над землей облака, пока не пришел в себя в морге. Он хотел спросить — попытался спросить — про второго человека, который был с ним рядом, но изо рта вырвался только клуб дыма. Потрясающе, что при такой температуре он еще оставался жив, услышал он разговор медсестер. Что бы потом ни говорили специалисты, сам он знал, что его спасли чужие башмаки, потому что у них были резиновые подошвы. Жалко, что он знал только это, и ничего больше. В определенном смысле он так и не вернулся к жизни.

Темные, грязные полосы у себя на руках, похожие то ли на затеки, то ли на ветки, он заметил в больнице. Он подумал, скорее бы они прошли,

и все. Поднявшись из ледяной ванны, голый, мокрый, он услышал, как у него сзади ахнули и зашептались о какой-то отметине. Кто-то сказал, что, конечно, это ожог, просто такой формы, что похоже на лицо. Ожог, отметина. Все оказалось иначе. Теперь-то он точно знает, что там у него на спине: там осталось лицо человека, с которым он заключил сделку.

А тогда он просто быстро оделся, отказавшись от какой бы то ни было помощи, и тогда же кто-то из медсестер назвал его Лазарусом[20]. С тех пор он так называл себя сам и почти позабыл, как его звали раньше. На что смерть похожа? Его смерть была похожа на облако, которое до сих пор не исчезло и присутствует где-то рядом. Где он был за то время, пока был мертв? Он ничего не видел, а когда очнулся, то уже снова оказался здесь. Если хорошенько поднапрячься, то вспоминается, будто была какая-то борьба. Он вырывался из какой-то ледяной ванны: рвался, рвался и вырвался.

Одевшись, он ушел из больницы: у врачей не было никаких причин удерживать его там силой, он не представлял опасности ни для себя, ни для

---

[20] Примечания: 20
По ассоциации с библейским воскрешением Лазаря.

других, а сам он торопился выполнить обещание. Приехав обратно, он сразу увидел то место, куда попала молния. Там зияла черная, выжженная яма. Плоды на деревьях, которые стояли вокруг нее, стали красными. Минуту он поискал глазами и нашел, что искал. Немного в стороне от ямы лежала горка пепла. Он сел рядом с ней на корточки, потянул в себя носом воздух. Пепел пахнул серой и мясом. Значит, в его партнера угодила молния и тот сгорел дотла. Это было все, что от него осталось: горка пепла, распавшейся на микроэлементы плоти, и лицо у него на спине.

Лазарус собрал пепел совком для мусора, потом взял деревянный ящик из книжного шкафа и ссыпал пепел туда. Бежать он не собирался, и в мыслях не было: он выполнял свою часть сделки. Сет Джоунс пережил почти всех друзей, старых партнеров можно было сменить на новых, нанимать рабочих — по телефону. Каждую ночь он ходил к тому месту, где покраснели апельсины на ветках. Целый год он честно выполнял все условия сделки, хотя он не подписывался носить на спине лицо. Когда год прошел, его снова потянуло странствовать. Это у него оказалось в крови. Он не создан для оседлой жизни. Но теперь он попался в сети, расставленные обстоятельствами,

и жил не свою жизнь, а чужую. Когда же он все отработает, когда истечет договор? Чувство вины поскуливало: кажется, никогда.

Лазарус позвал меня в дом и пошел прямиком к книжному шкафу, а я за ним следом. Он взял с полки отделанный кожей деревянный ящичек — свою погибель, свою смертную ношу.

— Ты тоже думаешь, что я убил его? — спросил Лазарус.

Привести грузовик с мульчей сюда в тот день мог кто угодно, но приехал именно он. И топнуть ножкой в тот день тоже мог кто угодно, а топнула именно я.

Я взяла ящичек в руки, и он оказался поразительно, на удивление тяжелым. Мы взяли его с собой в сад — нам показалось, что так будет правильно. Над садом плыло темное небо. Мы пошли к пруду, где Джоунс впервые увидел Лазаруса и решил, что это и есть ответ на все его молитвы. Мы разделись, сложили одежду на ящичек и вошли в воду. Пруд был глубокий, вода холодная. Осенью ночи во Флориде не такие жаркие, как летом, а в ту ночь было сыро, в воздухе висела влага, и мы шагнули друг другу навстречу, друг другу в объятия. Я обняла Лазаруса. Неважно, как его звали раньше, — теперь он был Лазарус. И я

почувствовала в нем его прежнюю жизнь, другие города, других женщин. Почувствовала, как он жалеет о том своем произнесенном когда-то желании, жалеет так, что отдал бы все на свете, только бы снова оказаться в своих башмаках и жить свою жизнь.

В первый раз в жизни я не думала ни *о до того,* ни о *после*. Ни о будущем, ни о прошлом. Настоящее нас подхватило, объяло со всех сторон. Мы были два тонущих человека, которые рады тому, что тонут. «Поцелуй меня. Целуй, пока я не задохнусь, пока я не утону». Я чувствовала, как его бьет дрожь. И странно было знать про него правду, которая всегда была рядом, а теперь будто плескалась вместе с нами в черной воде. Было жарко, гудели жуки, где-то вдалеке вспыхивали молнии. Я будто была не я. Я плыла в темноте. И в первый раз в жизни ничего не боялась. Я не думала, что так бывает. Что можно взять и расстаться со страхами. Что можно взять и спастись.

Я обнимала его, чувствовала, как он дрожит.

— Ты не виноват, — сказала я ему.

И тут произошло такое… Я ни за что бы не поверила, что это может произойти со мной, — слова, мои собственные слова, произнесенные вслух, чтобы принести ему утешение и надежду, в ко-

торые я сама никогда в жизни не верила, — мои слова меня спасли.

ГЛАВА 5
ЗОЛОТО

I

Я провела там весь уик-энд и на обратном пути, пока ехала, волновалась из-за Гизеллы. Был понедельник, конец дня, время близилось к ужину. Кошка, наверное, сидит под дверью, ждет, когда же я ее выпущу, и, возможно, уже попользовалась моим башмаком вместо лотка, что она, бывало, делала, выражая свое негодование. Перед отъездом я поставила ей огромную миску еды, но тем не менее. Чем ближе я подъезжала к дому, тем тревожнее становилось на душе. То и дело мне даже слышалось ее мяуканье — разумеется, ничего такого на самом деле слышать я не могла, все только казалось. Когда за окошком промелькнул синий знак въезда «Добро пожаловать в Орлон» с трогательными, нарисованными рядышком пальмой и апельсиновым деревом, мне померещилось, будто я слышу, как она взвыла. Я дважды слышала такой ее вой — когда она через окно увидела у нас во дворе чужого кота, который был то ли ее личный враг, то ли наоборот.

На самом деле, конечно, это просто поблизости взвыла сирена — и в зеркале заднего вида я через минуту увидела «скорую», — но дело бы-

ло сделано. Аритмичное мое сердце забухало в горле. Я подъехала к дому, вышла. День выдался на удивление хороший для Флориды, почти безоблачный. Ни тебе повышенной влажности. Ни тебе приближения грозы. По крайней мере, в пределах видимости. Но волоски у меня на руках стояли дыбом. По спине вдоль позвоночника полз холодок. Я была как флюгер, направленный на катастрофы. Во рту был тот же кислый привкус, который я впервые ощутила, когда произнесла вслух то свое желание.

Я бросилась к двери и выпустила Гизеллу. Гизелла была на меня рассержена и потому, задрав хвост, надменно прошествовала мимо на крыльцо, откуда одним прыжком соскочила в сорную траву. Повернулась ко мне спиной, присела пописать. Характер у нее был независимый, и я это уважала. Гизелла сердилась, и это я тоже уважала.

Я уже собралась идти в дом — принять душ, переодеться и поразмыслить о том, как жить дальше. Кажется, я даже решила наконец разобраться, чем любовь отличается от мании. Одна из них точно смертельно опасна. Неожиданно я почувствовала себя как игрок, до которого вдруг дошло, что он сделал слишком высокую ставку.

В ту минуту мне все виделось иначе. Я отчетливо осознавала все — каждый свой шаг, каждый сорняк, уколовший ногу, каждый звук кошачьего мяуканья.

Гизелла протрусила мимо меня назад к двери. Что-то она опять несла. Я подумала, хорошо, если птица, а не еще один несчастный крот. Я пошла за ней. Гизелла трясла головой, трепала свою добычу. Я видела только, что цвет добычи коричневый, а больше ничего, даже не разобрала, мех это или перья. Потом Гизелла положила добычу к моим ногам. Она больше не злилась на меня за долгую отлучку, она гордилась собой за то, что нашла. И преподнесла мне это в подарок. Она у меня была любимой питомицей — а я у нее кем была? Кем она считала меня? Кем угодно, но не хозяйкой. Возможно, она, наоборот, считала себя моей хозяйкой. Маленькая моя убивица. Маленькая моя радость.

Осторожно я наклонилась, чтобы рассмотреть подарок. На первый взгляд он показался мне знакомым. Как оказалось, не зря.

Возле моих ног лежала кожаная перчатка. Когда я заглянула внутрь, в ней блеснула золотая крошка.

Я бегом бросилась к кустам. На земле валялась

вторая. Пустая, свернувшаяся, как опавший лист, как птица, как крот, как сердце.

Понедельник. Мы с Ренни должны были вчера встретиться и закончить макет. Я про него забыла.

Я пошла в дом и поспешила через гостиную в кухню. В кухне стоял недостроенный дорический храм. Перчатка в траве. Аритмия. Отвратительная моя ненасытность. Подспудное желание отвязаться, забыть, что он есть.

Я услышала, как кто-то меня зовет. Голос был незнакомый. Я бросилась назад через кусты и увидела на пороге своей веранды молодую девушку.

— Привет, — сказала девушка.

Я заглянула поверх ее плеча в дом сквозь закрытую сетчатую дверь.

— У меня записка от Ренни Милза, — сказала девушка.

Она была молодая, светловолосая, в футболке и в джинсах. Что-то в ней показалось мне знакомым.

— У вас для меня записка?

— Нет. Для меня. Он просил меня встретиться с ним здесь. Весной у нас был общий курс по истории искусств.

Айрис Мак-Гиннис.

Она рассмеялась коротким, нервным смешком. Она была худенькая, бледная, с приятным выражением лица.

— Он написал, что приготовил мне здесь подарок. Не понимаю, почему он решил мне что-то дарить.

«Да потому что он без памяти влюблен в тебя, идиотка». Хотела сказать и не сказала. Я открыла противомоскитную дверь. Айрис была очень молоденькая. Лет девятнадцать. У меня появилось отвратительное предчувствие надвигающейся беды.

— Он тут кое-что для вас приготовил, — сказала я.

— Для меня?

Айрис рассмеялась, и смех у нее оказался похож на журчание ручейка. Возможно, именно за это Ренни и полюбил ее, за такой смех?

— Да, но сейчас его нет.

— Ладно, тогда попросите, пожалуйста, его позвонить мне.

Айрис оторвала клочок от тетрадной обложки и написала номер телефона.

— Я буду дома весь день. Приходится заниматься. Я же не такая способная, как Ренни. Когда

у нас был один курс, он получил А[21], а я была счастлива, что мне поставили С. Пусть позвонит, я буду ждать.

— Разумеется, — сказала я.

— И этот Ренни мне хочет сделать подарок, в голове не укладывается!

Я увидела, что глаза у нее зеленые. По-своему, она была миленькая, приятная своей приятной, миленькой красотой.

Когда она ушла, я позвонила Ренни в общежитие. На мой вопрос незнакомый голос ответил:

— А вы что, еще не знаете?

Меня захлестнуло паникой. Его перчатки у меня на столе. Волосы встали дыбом, как будто от страха.

— Что он сделал? — спросила я.

Я поняла, что он совершил нечто ужасное, нечто очень страшное. Монстр решил вырваться из своей шкуры, ангел решил обрести свободу.

Впрочем, про монстра и ангела я подумала потом, когда стала звонить брату. В центре уже знали, что произошло. Ренни явился в «Хозяйственный магазин Эйкса», где снял со стены мясной нож. Он был спокойный и даже веселый;

---

[21] Примечания: 21

Система зачетных оценок — A, B, C, где A наивысшая; соответствует российской пятерке.

на него никто не обратил внимания. «Там на полу столько кровищи, что, хоть половицы и дубовые, придется менять», — сказал мой брат. Ренни непременно умер бы там на месте от потери крови, если бы менеджер из отдела красок — тот самый, искалеченный бульдогом, — не проходил когда-то курсов первой помощи. Он вообще теперь, после того несчастного случая, стал очень быстро соображать. Он мгновенно перепрыгнул через прилавок, схватил с витрины передник и наложил жгут.

Теперь исследования в университете прикроют, потому что университет взял на себя ответственность за членов исследуемой группы. Родители Ренни считают, что их сыну не было оказано надлежащей психологической помощи, и уже ходят слухи, что они хотят подавать в суд. А университет не так чтобы и заинтересован в этих исследованиях. Двенадцать лет работы псу под хвост, и все наши фотографии, все истории наших несчастных болезней пойдут в помойку.

Все, с кем я потом ни говорила, удивлялись тому, как это можно прийти в обыкновенный магазин в самый что ни на есть обыкновенный день и сотворить такую чудовищную вещь. Но я-то его понимала — хорошо понимала, почему он решил

отрубить себе руку. Я могла бы, наверное, поспорить, что он, выходя из общежития, улыбнулся стоявшим возле стойки у выхода девушкам, но никто не улыбнулся ему в ответ, а возможно, вообще не посмотрел в его сторону, как и все остальные студенты в университете, которые каждый день не смотрели в его сторону. Вот тут он, человек-невидимка, и отправился в магазин, и у него было только одно желание. Я уже хорошо к тому времени знала Ренни и не сомневалась — какое. Одно-единственное, тайное, неистовое желание: снова стать человеком.

Я немедленно отправилась в больницу, нашла блок интенсивной терапии и упросила, чтобы меня пропустили внутрь. Какая-то из медсестер меня вспомнила, к тому же я и в самом деле была страшно огорчена и перепугана. К членам семьи я не относилась, и потому в палату мне было нельзя, но зато мне велели подождать. Чего ждать, я не поняла. Я села на один из твердых пластиковых больничных стульев.

Видимо, если кто-то обо мне хоть что-то знал, то признать меня было нетрудно: жертва молнии, товарищ по несчастью, такой же безнадежный монстр. В холле появилась девочка-подросток и опустилась на стул рядом со мной.

— Вы друг Ренни, — сказала она. И представилась как его сестра Марина.

— Он поправится? — спросила я.

— Ему лучше, чем вы думаете.

Голос у Марины был мягкий, такой же как у Ренни. Волосы у нее были стянуты на затылке бархатной тесемкой. Вероятно, она была рыжая, потому что мне предстала беловолосой. Юной такой старушкой, озабоченной состоянием брата. Он говорил про свою сестру, что она у него умненькая. Семейная любимица.

— Им удалось пришить кисть, воссоединить нервные окончания. Возможно, она потеряет чувствительность. Или восстановится, но не в полной мере. Сейчас самое для нас опасное — это большая потеря крови.

— Я должна была помочь ему доделать макет для зачета. Потому все и произошло. Я забыла напрочь.

Мне хотелось упасть перед ней на колени и молить о прощении. Хотелось вырвать свое сердце и бросить к ее ногам на виниловый плиточный пол.

— Дорический храм? Нет, он был не для зачета. Ренни их все почти завалил, уже когда попросил вас помочь его сделать. Храм ему был нужен,

чтобы подарить одной девушке, в которую он влюблен.

— Айрис, — сказала я.

— Она хоть стоит того? — спросила Марина.

— Не знаю. Я сегодня говорила с ней первый раз.

Родители Ренни ушли в общежитие забирать его вещи. Они намеревались сразу по возвращении домой в Майами идти к адвокату. Вряд ли им понравилось бы, что его приятельница по группе пролезла и в реанимацию, но Марина решила по-своему и провела меня к нему.

— Дело не в том, что родителям не нравитесь вы, они просто пытаются защитить его от всего мира. Родители. — Марина пожала плечами. — Они всегда хотят как лучше, а выходит еще хуже. Когда же я сама буду за себя решать!

Мы подошли к палате, и я заглянула в приоткрытую дверь. Там лежал Ренни. Под простыней. С закрытыми глазами. Рядом с ним стоял какой-то прибор, издававший шуршание, похожее на шорох падающего снега.

— Тук-тук, — сказала Марина.

Ответа не последовало.

— Демерол, — шепотом объяснила она мне. — Опять отключился.

Она открыла передо мной дверь. Окна в палате были затемнены, свет выключен, и золотые блестки сверкали. Он не знал, как это прекрасно, понятия не имел.

Мы подошли и встали с ним рядом.

— Все в порядке, — сказала Марина. — Можете с ним поговорить.

— Эй! — Оклик у меня вышел слабым. Как будто я звала его откуда-то издалека, хотя стояла возле самой кровати. — Это я.

Ренни открыл глаза. Я думала, он от меня отвернется, но он не отвернулся. Это было уже что-то.

На левой руке я увидела красную полосу над кистью — шов. Потрясающий, жуткий, страшный, мучительный красный рубец. Я так отвыкла от красного цвета, что едва не ослепла. Я забыла, до чего он насыщенный, этот цвет.

— Я хотел стать нормальным, — сказал Ренни. — Хотел снова чувствовать, как все.

— Ничего себе ты нашел способ стать нормальным, — сказала я.

Родители заберут его домой, и, пока он не поправится, Марина будет поить его чаем и бульоном. Однажды он встретит девушку, которая сразу увидит, какой он на самом деле, и тут же его полюбит.

— Что делать с макетом? — спросила я.

Он улыбнулся. Широко так улыбнулся.

— Кому нужен дорический храм? Выбрось его к черту.

— Сегодня за ним приходила Айрис.

— Кто? — сказал он.

Мы оба рассмеялись. Девушка его мечты. Возможно, для нее же лучше там, в мечтах, и оставаться.

— Плохой я друг, — сказала я.

Ренни был джентльменом и остался им, даже накачанный обезболивающими препаратами.

— Есть и похуже, — сказал он.

— Кто, серийный убийца?

— Нет. Я, — сказал он.

Я наклонилась и поцеловала его в лоб.

— Спасибо, — сказал он.

Это я думаю, что он так сказал. Он снова уже проваливался в сон.

— Он устал, — сказала Марина.

У нее были огненно-рыжие волосы, теперь я отчетливо это видела. Я даже моргнула, увидев, какие они прекрасные. Я взяла свою сумку и написала адрес.

— Пожалуйста, сообщите потом, как он.

Вдруг мне покажется, что все это мне присни-

лось — и Ренни, и вся эта история.

— Как вы думаете, он сможет быть счастлив? — спросила она.

Девочка, всего-навсего девочка.

— Я думаю, все возможно, — сказала я.

Прозвучало это у меня так, будто я сама в это верила.

Я ушла, вернувшись в разгар дня. Я шла через парковку к своей машине и думала про любовь, почему она для нас так важна. Оригинальная была мысль, умная. Руками не потрогать, длится недолго, не стоит ради нее ни жить, ни умирать. Сколько раз мы болтали обо всем с Джеком Лайонсом, а я ни разу не спросила, что он думает про любовь. Тогда не хотелось.

По небу летели быстрые облака. Небо было ярко-синее, а в облаках играли оттенки, по которым я, оказывается, страшно скучала. Потрясающие. Живые. Над деревьями пролетел кардинал. Я встала, приложив ладонь к глазам. Я так давно не видела ничего красного, что теперь, кажется, даже самый легкий его оттенок обжигал сетчатку. На глаза набежали слезы.

Я услышала оклик. Меня догоняла сестра Ренни.

— Подождите! — крикнула она.

Я оглянулась и остановилась.

— Ренни сказал, чтобы вы позаботились.

Марина протянула сложенную в кулак руку, и я протянула свою навстречу. Она раскрыла кулак, и там оказался тот самый раненый крот, которого Ренни спас от Гизеллы. Я вспомнила перчатку, свернувшийся лист, желание.

— Что с ним будет? — сказала я.

— Я буду о нем заботиться. А когда он поправится, будет учиться в университете в Майами. Изучать историю искусств. Или вы спросили про крота?

Нет, не про крота, хотя, думаю, стоило бы и про него: теперь ответственность за этого беднягу была на мне.

— Ренни сказал, если вы не найдете червяков или личинок, кормите его американским сыром[22] и зеленым салатом. Два раза в день.

Он был мне не нужен. От него только лишние хлопоты. Но он был мой. Я взяла у нее крота. Заглянула в его слепую мордаху. И поняла, зачем нужна любовь. Она все меняет, весь твой мир. Даже против твоих желаний.

Я ехала к брату, и красный цвет отовсюду бил

---

[22] Примечания: 22

Американский сыр — полужирный сыр типа чеддера.

мне в глаза. Возможно, это я так начала выздоравливать. А возможно, это была просто цветовая галлюцинация и я видела то, что хотела. В рекламе на мини-маркете вспыхнул такой чистый, такой настоящий пурпур, что у меня перехватило дыхание. Неужели это всегда было так же прекрасно, а я просто не замечала? Я притормозила, въехала на парковку и пошла внутрь к фруктовому ряду. Кулечки с салатом, огурцы, персики, лимоны… а в конце, в ячейке на витрине, лежало всего одно яблоко, нежное, светлое, будто налитое своей светлой кровью, налитое жизнью. Я купила это яблоко, вернулась в машину и впилась в него зубами. Яблоко было вкусное и показалось мне еще вкуснее оттого, что красное. Я сидела на магазинной парковке, грызла яблоко и, как ни странно, чувствовала себя без Ренни сиротой, одинокой до слез. Я впустила его в свою жизнь, хотя и знала, что так нельзя.

Медленно я тронулась с места и так и доехала до брата. Сюжет в сказках нередко строится именно на таких парах. Луна и солнце, сестра и брат, подопечная и опекун — две противоположности, которые обретают смысл только при наличии друг друга и движут действиями друг друга, пока в конце оба не попадут домой. Нед был не дома, а

в университете. Я знала, что у них срочное собрание из-за нашей группы. Из-за угроз родителей Ренни, так как университет испугался суда и там поднялся большой переполох. Психологи с Ренни и впрямь не работали, а он действительно мог нуждаться в их помощи. А кто из нас не нуждался? Подобный упрек мог бы сделать любой из нас, членов подопытной группы. Нас трепали, расчленяли, выворачивали наизнанку. Несколько раз в парке я видела Обнаженного, как он бросал чужому пуделю, а другой раз ретриверу теннисный мячик. В городском кафе видела нашу девушку в разных носках, как она пыталась помешивать кофе так, чтобы ложка двигалась по кругу.

Если честно, я считала, что если семья Ренни и может иметь к кому-то претензии, то это ко мне. Тупая, слепая, эгоистичная, жадная, я называла себя его другом, а в тот момент, когда действительно была ему нужна, меня не оказалось рядом. Конечно, судить нужно было бы меня, хотя какая с меня компенсация: кошка, машина, прошлое, будущее, а больше у меня ничего не было.

Подъехав к дому, я остановилась, вышла, выбросила огрызок. Наверное, я вспомнила про Неда, когда смотрела на сестру Ренни, на то, как она была с ним внимательна. А я была плохой

сестрой: я не рассказала ему про Нину и про «Сто способов». Я подошла к двери и постучала. Машины на подъездной дорожке не было. Вероятно, Нина ходила на занятия пешком — математический факультет был от дома в двух шагах. День стоял замечательный. Темнело теперь немного раньше. Ранние сумерки — это было единственное, что напоминало о Нью-Джерси. Там с первыми холодами среди кленовых крон появлялись красные пятна. Здесь с наступлением сумерек все окрашивалось в разные оттенки синего. Синими становилось все — птицы, распевавшие последние дневные песни, пальмы, которые громко трепетали листьями, обожженными летним солнцем.

Я вошла во дворик, отгороженный от улицы кустами гардении, прошла к дому и заглянула в окно. Белый диван. В рамке на стене красное сердце. Дверь открыла Нина и так и осталась стоять на пороге. Видимо, она спала. Волосы растрепались. Взгляд был затуманенный. Не уверена, что она меня сразу узнала. Даже когда ответила на мой вопрос, то отвечала так, будто разговаривала не со мной, а с кем-нибудь посторонним. С газетчиком или с разносчиком.

— Твоего брата нет дома. Он в научном центре.

У них неприятности.

— Ага. Мой друг пытался отрубить себе руку. Он из нашей подопытной группы.

— Некоторые сами находят проблемы на свою голову.

Нина посмотрела на меня сердито. Стало быть, я не ошиблась. Я ей не нравлюсь. Она стояла в халате, перемазанном краской. Я отметила про себя, что она не предложила мне войти.

— Ты что-нибудь красишь?

— Да. Естественно.

Желтые пятна. Пальцы и джинсы тоже были в краске.

— У тебя есть американский сыр? — сказала я.

Нина засмеялась. Смех у нее был негромкий, милый, надтреснутый, но легкий, как звяканье треснувшего колокольчика.

— Ты приехала из-за сыра?

Я достала из кармана крота. Нина удивилась и отступила назад.

— Бог ты мой.

Она едва не рассмеялась снова.

— Мой друг поручил его мне.

Нина открыла дверь и пошла в глубь дома, я последовала за ней. Мы прошли в кухню через гостиную, где на стене висело сердце. В кухне пахло

краской. Я всегда любила этот запах сокрытия старого, рождения нового.

Нина стала шарить в холодильнике, а я села. Крот лежал у меня на ладони, а я на него смотрела. Он не двигался. Я подумала, не хватало, чтобы он умер у меня на руках.

— Только, пожалуйста, не клади на стол, — попросила Нина, подходя к столу с оранжевым пакетом в руках.

Я положила на стол свой рюкзачок, а сверху положила крота.

— Не всех можно приручить, — сказала Нина и села за стол.

Она не сводила глаз с крота.

— Очень милое создание. Не видит, не слышит, не хочет или не может.

Она перевела на меня взгляд.

— По-моему, ему не нравится сыр.

Она открыла кладовку, где мой брат держал корм для летучих мышей, которых прикармливал у себя во дворе. Достала банку с чисто вымытыми огрызками и очистками от фруктов и овощей. Я набрала их полную ложку и положила на блюдце. Крот на рюкзаке съел раздавленную виноградину. В рюкзаке была книга. «Сто способов покончить с жизнью». Блюдце стояло,

похоже, как раз на ней. Я видела, как бьется жилка у Нины на горле, матовом и нежном.

— Что такое любовь? — спросила я.

Нина засмеялась. По крайней мере, издала звук, похожий на смех.

— Идиотский вопрос. На него миллион ответов.

— Для тебя. Что это для тебя?

С моего стула было видно двор. Розовое небо сначала посерело, потом обрело глубокий синий оттенок, какого я никогда, кажется, не видела. Какого никогда не бывает в Нью-Джерси. Горячий, глубокий, далекий.

Нина тоже стала смотреть во двор.

— Мне казалось, ты его любишь, — сказала я.

Нина повернулась, посмотрела на меня удивленно.

— Я про Неда, — сказала я. — Мне казалось, ты его действительно любишь.

Нина вспыхнула, пошла к мойке. Она там просто стояла. Даже не включила воду.

— О, — сказала она.

По крайней мере, мне так послышалось.

— Я была тогда в библиотеке, — сказала я. — Потому так и говорю. Думаешь, мне это надо? Я не собиралась за тобой следить, но увидела. Я знаю,

что ты брала «Сто способов покончить с жизнью». Если бы Нед узнал, это, его убило бы.

Нина засмеялась, на этот раз сухо. И отнюдь не мило.

— Это я гибну, — сказала она.

— Ты хочешь покончить с собой.

— Ерунда какая.

Нина повернулась и пошла в глубь дома, а я последовала за ней. В коридоре было темно. Нина стояла на пороге кабинета Неда, откуда была вынесена мебель. Одна стена была покрашена в желтый цвет. Свет Нина не включила, но стена и без света будто светилась. Такой был оттенок.

— Хороший цвет, — сказала я.

Нина села на пол, скрестив ноги. Ковровое покрытие было сверху застелено газетами. Я тоже села на эти газеты и сидела, смотрела, как она плачет. Нина наплакалась и отерла глаза тыльной стороной ладони.

— Хочешь знать, что такое любовь? Это — всему конец.

Нина посмотрела мне прямо в лицо. На мгновение мне показалось, что она меня ударит. Если бы ударила, я не обиделась бы. Я грубо вторгалась в ее жизнь, задавала дурацкие вопросы и вообще совала нос куда не следует. Но она взяла мою

руку и положила к себе на живот. Срок оказался большой, хотя со стороны было незаметно. Она хорошо умела скрывать свои тайны. Я почувствовала, как ребенок шевелится.

— Ничего не конец. Это прекрасно. Зачем ты ее брала? — сказала я.

— Не для себя, для него. На случай, если ему будет очень плохо и он не захочет терпеть. Если я не смогу на это смотреть.

Я отказывалась понимать, о чем она говорит. Она была права, любовь действительно всему конец. Когда любишь, то подставляешься. Но только поверишь, будто у тебя есть все, что нужно, как — раз, и ничего.

Это был именно тот случай.

— У него рак поджелудочной. Он хочет работать до конца, пока может, и ему, говорят, осталось около месяца. Ребенок родится в начале года. Я брала книгу на тот случай, если ему понадобится. Чтобы он ушел так, как он сам решит. В конце концов, это его право. Это его жизнь. Но я не смогла. Я не хочу лишиться его хоть на минуту раньше. Я отвезла книгу.

Лицо у Нины пошло пятнами, глаза покраснели. Я теперь видела красное.

— Давай я буду красить, а ты будешь смот-

реть, — сказала я.

— Можно завтра, — сказала Нина. — По крайней мере, хоть на это у нас есть время.

Мы сидели в потемках, взявшись за руки. И я поняла, что знаю, как ответить на свой вопрос.

Это она и была, любовь.

II

Когда крот выздоровел, я в сумерках вынесла его во двор и отпустила. Я посадила его в траву возле кустов, и он почти мгновенно исчез. Только что был — и нет его. Может быть, он узнал свой дом — знакомый запах гибискуса, сухую траву. Не осталось и следов, крот просто исчез, и все.

Я вспомнила сказки про женщин, которые, ослепнув в старости, в один миг узнавали своих возлюбленных, даже если те, мужья или не мужья, возвращались назад лет этак через пятьдесят или сто, заколдованные, превратившись в какого-нибудь зверя или вообще монстра. Я подумала, как же отпечатывается в нашем сознании прошлое — запахи, шелест ветвей, касания. Если бы мы с Лазарусом сфотографировались и повесили фотографию на стенку, то всякий, кто на нее посмотрел, наверняка сказал бы или подумал: «Нет, они не пара. Они друг другу не подходят». Потому, наверное, мы и не сфотографировались. Мне поначалу вообще было странно, как меня мог полюбить такой красавец, но под конец я поняла: дело в том, что я узнала его. Даже если бы он предстал передо мной в шкуре оленя или мед-

ведя, я бы все равно его узнала. Если бы я ослепла, в темноте, через сто лет, я бы его узнала.

С этим ничего не поделаешь, и тут не властны ни время, ни любые катаклизмы.

Вечером я к нему приехала, и мы гуляли в темноте по апельсиновой роще. Днем там перекрикиваются рабочие, работает техника и вообще шумно. А ночью слышно каждый вздох, каждый стрекот насекомых.

Я рассказывала ему о брате. Я пыталась понять причину: если бы мы родились не в Нью-Джерси, если бы дышали другим воздухом, если бы по-другому питались, не приехали во Флориду, родились в другой семье, если бы у нас была не та бабушка, не тот дедушка, не тот генотип, то, возможно, тогда он бы не заболел раком. Когда-то он излагал мне свою первую теорию, предшественницу теории хаоса, — о принципе неопределенности. И проиллюстрировал его на простом примере, на кошке, чья жизнь или смерть зависит исключительно от случайного поведения одного-единственного атома. Теперь то же самое происходило с ним. Одна-единственная клетка нарушила работу соседних; все определила одна чертова клетка. Почему это должно было случиться именно с ним, никто не знает. Вероят-

ных ответов не сотни, а тысячи. Все непонятно, случайно. Все запредельно.

— Что можно для него сделать? — спросила я у Лазаруса.

Я считала, что тот, кто умирал, должен это знать.

Лазарус засмеялся. Он редко смеялся.

— Спроси у него. Все люди разные.

— Если бы тебе оставалось всего несколько недель, как бы ты хотел их прожить?

Я хотела в ответ услышать: «Как сейчас, в темноте с тобой». Хотела, чтобы он мне помог, но ему это и в голову не пришло. В этом не было его вины. Он сам слишком прочно застрял в капкане, чтобы каждую минуту печься о другом человеке.

— Если бы это был я, то я бы хотел быть свободным. Как раньше. Я думал, что та моя жизнь ничего не стоит, до тех пор, пока ее не потерял. Если бы я рассказал всем, кто я такой на самом деле, то настоящего Сета объявили бы в розыск, а мне вряд ли кто-нибудь бы поверил. Решили бы, что я его убил, чтобы завладеть деньгами. Потому я не уехал. И завяз.

Завяз — в чужих башмаках, в роще, где все тропинки вели к одному и тому же месту. Я понимала, как же ему, наверное, хочется вырваться.

Такая жизнь была точно не жизнь. Потому мне захотелось запомнить каждую мелочь. Стоя рядом с ним, я понимала, что я все это потеряю. Рано или поздно. Всё. Я старалась запомнить каждый листок, каждую звездочку в ночном небе.

— Думаю, все скоро так или иначе обнаружится, — сказал Лазарус. — Думаю, люди уже начинают догадываться, что я не настоящий Сет Джоунс.

У него не хотели принять заказ в продуктовом магазине. Почему он стал всегда заказывать продукты только по телефону, почему не заходит? Ему пришлось прикрикнуть, чтобы позвали менеджера, который когда-то водил знакомство с Сетом Джоунсом и который сказал ему:

— Что-то ты говоришь не так, Джонси. Охрип что ли?

— Грипп, черт бы его побрал, того и гляди, перейдет в пневмонию, — посетовал Лазарус.

Но ему стало страшно. Год, на который он подписался, прошел. Шел, шел и прошел. Лазарус и так уже давно хотел бы уехать, а теперь эта мысль стала приходить в голову все чаще. Возможно, он ушел бы и раньше, но хотел честно выполнить обещанное. Возможно, он уехал бы летом. Если бы не приехала я, в том самом красном платье. Не

насыпала бы себе в рот льда и не поцеловала его.

Радуйся тому, что есть, когда оно есть. Не это ли главное? Радуйся, даже если окажется, что *потом* и *навсегда* совсем не одно и то же. Вернее, не *потом*, а *после того.* После того, как придет конец. Мечтам, жизни, смерти — всему. Что остается, когда мы уходим, — только пустое пространство? Что остается потом, без нас?

Так что пусть будет все. Здесь. Сейчас. С ним. Жар, ночь, тьма, звезды, мгновение, а потом пусть приходит *после того.*

К тому же что-то вдруг случилось с апельсиновой рощей. Это была вторая причина, почему Лазарус не уезжал. Он взял меня за руку и повел туда, где была яма от молнии. По дороге мимо нас несколько раз проехали машины, но на нас никто не обратил внимания. Мы были просто мужчина и женщина, которые вышли прогуляться в темноте перед сном. Яма заметно увеличилась в размерах, земля по краям ее стала осыпаться, постепенно, дюйм за дюймом, обнажив твердую, каменистую сердцевину. Деревья вокруг ямы начали гибнуть. Плоды почти на всех опали. Зато я теперь видела апельсины, какими они были на самом деле. Не шары изо льда, не снежки, а рубиново-красные апельсины. Рубиново-красные

планеты, миры, прекрасные в ночной темноте. Как я могла быть такой идиоткой и не замечать всего того, что у меня в жизни было? Один только красный цвет стоил целого мира.

— Я хочу сорвать их, — сказала я Лазарусу.

Мы взяли стремянку, из тех, что оставили в роще рабочие, приставили к дереву; я вскарабкалась наверх и бросала апельсины Лазарусу.

— Хватит, — сказал он. — Мы и этого не съедим.

Но мне было не остановиться. Я рвала их и рвала. Я так истосковалась по красному.

Ночь выдалась прохладная, но апельсины удерживали в себе дневное тепло. Крошечные планеты, сохранившие внутри себя свет своих пылающих солнц. Корзину мы тащили вдвоем. Вдвоем, вместе… Нам оставалось провести вместе всего одну ночь. Каждая мелочь обретала особое значение. Черное небо, черные деревья, красные апельсины, сладкий запах земли, жар от его дыхания, когда он шептал мне на ухо свои слова, шорох шагов по дорожке, поливальные брызгалки под деревьями, капли воды.

Мы сняли одежду и встали под брызгалку. Вода и ночная прохлада позволили нам обняться. Вокруг не было никого. Ни души. Я любила к

нему прикасаться — он был очень *здесь* и очень *сейчас*. Любила чувствовать его мышцы, его жар, его обжигающие поцелуи. Любила за то, что от них больно, что от них понятно, что я живая, *сейчас*, а не *после того;* и я смотрела на красное, и мне хотелось прижаться к земле, не помня, есть ли кто-то еще во вселенной или нет. Ничего странного, что люди это делают где угодно, с кем угодно, с незнакомцами, на парковках, безрассудные, ненасытные, — когда они вместе, то им кажется, будто они не одиноки, будто не одни во вселенной. Хотя на самом-то деле все наоборот: когда любишь, тогда острее чувствуешь свое одиночество. *Когда я не с тобой.*

— Прекрати думать, — сказал мне Лазарус.

Я замерзла, без платья, под поливалкой, залитая всей этой холодной водой, всем этим звездным светом, в этом *сейчас*.

Я его поцеловала, и все остальное вылетело из головы. Он сел на землю, потянул меня вниз. Я сидела у него на коленях и смотрела ему в пепельные глаза. Я обнимала его, трогала спину. Я чувствовала ее. Не было там больше никого — ни изображенного на портрете, ни существующего под портретом. Только он. Кожа, кости, мышцы, сердце, кровь — красная, горячая.

Я выбросила все из головы. Сдалась, перестала бороться за жизнь.

Это было мгновение, которого я не забуду, которое значило для меня больше, чем чешуя, ванна, лед, пруд, быстро, сильно, медленно, нежно; мгновение невесомое, затопившее собой все, потому что я думала о том, что он уйдет. Мы вдвоем, брошенные друг к другу случайностью, были прекрасной иллюстрацией к теории хаоса. Мы не были предназначены друг для друга судьбой, я это знала. Но зато мы были идеальной парой на одну ночь.

Когда мы вернулись в дом, я приняла горячий душ. Меня трясло, даже когда я вытерлась и оделась. В спальне я вытащила свитер из комода и пошла в кухню. Лазарус еще не переоделся, так и сидел в той же одежде, испачканной землей. Он сидел за столом. Он смотрел на меня, когда я вошла. Я поняла по выражению его лица, что пора платить по счетам. Пришло время расплаты. Слез. Наступало *после того*.

— Без тебя я был бы совсем одинок, — сказал он.

Я смотрела на его рот, на его скулы, его пепельные глаза, широкие ладони, руки, перевитые венами, будто веревками. На голубое, на красное.

На живое. Я смотрела изо всех сил. Я хотела его запомнить — вот ему я была нужна. Я упаковывала это мгновение в оболочку памяти, чтобы взять с собой в *после того*, в сердцевину, в сердце, в себя.

Он разрезал пополам апельсины, которые я сорвала. Стол стоял будто залитый кровью, но все-таки это был всего-навсего сок. От таких апельсинов продавец получает самый высокий процент прибыли. Людям нравится редкий яркий цвет и насыщенный вкус. Такой сорт стоит вдвое дороже прочих, но для него все это стало прошлым.

Разрезанные половинки почернели в сердцевине. Прежде сладкие, красные, удивительные на вкус половинки. Они начали гнить изнутри. Я уже слышала про такое. Дерево, в которое попала молния, могло простоять целый год, но исподволь оно гибло, и ствол наконец рушился. Изменения не всегда заметны сразу. Ты не видишь их, думаешь, что в безопасности, и вот тут-то оно и тебя и настигает. Тогда в одно мгновение меняется все, прежде чем успеваешь понять, что происходит.

В сказках герои всегда ищут истину, не думая о том, что из этого выйдет. Там, куда пришла я, где, как я думала, найду все, а на самом деле не

было ничего, там зато нашлась я: настоящая, та, которая не боялась чувствовать, та, какой я была на самом деле.

ГЛАВА 6
НАДЕЖДА

I

Родители Ренни подали в суд на Орлонский университет. В своей разумной предосторожности университет занял оборонительную позицию, при этом кусаясь и жаля кого ни попадя. Исследовательская группа моего брата была распущена. Когда-нибудь кто-нибудь будет снова собирать ту же информацию, будет так же интервьюировать жертв молнии, фотографировать их на фоне белой стены, но это потом. Не сейчас. В том *сейчас*, в котором мы тогда жили, все пошло прахом.

Зато я придумала, как сделать так, чтобы брат прожил то *сейчас* так, как ему хотелось. Нашла, что ему было бы приятно, чем его заинтересовать, о чем бы можно было вспоминать потом, *после того.* Я спросила разрешения у Нины, она согласилась, и потому я позвонила брату на работу. Я не видела его с тех пор, как Нина мне все сказала. Мы с братом не привыкли друг с другом откровенничать. Так что я, да, немного тянула.

— Забери файл Дракона, если его не уничтожили, — сказала я.

У своего кардиолога, Крейвена, я взяла направление, так что теперь могла консультироваться

у кардиолога в Джексонвилле. Я порасспрашивала у него про Дракона, и кардиолог сказал, что старик каждый раз после попадания молнии становился только крепче. Он здоров как бык и каждый день проходит пешком десять миль.

— Мы его обследовали. Он сказал, что слишком стар и потому не может потратить на нас больше одного дня. Сказал, что связываться с нами — только время терять. Результаты анализов у него оказались такими, что он вроде давно уже должен быть покойником. Пульс менее десяти ударов в минуту, реже, чем у медведя в период спячки. Когда молния угодила в него второй раз, ему было восемьдесят семь. Он грохнулся на спину во весь рост, и через него прошло столько вольт, что представить себе невозможно. А он ничего — полежал, отлежался, встал и пошел обедать. От медицинской помощи он, насколько мне известно, отказался, и его считают самым здоровым старикашкой в штате. Вот так-то.

— Хочешь, чтобы я стащил его файл? — сказал брат, когда я ему позвонила. — И попробовал разобраться?

— Совершенно верно.

Нед рассмеялся: похоже, идея совершить мелкое преступление против университета ему

понравилась.

— Если меня схватят за руку, я скажу, что это ты меня подбила.

Я нервничала перед встречей с ним. Боялась сказать какую-нибудь глупость. Было бы вполне в моем духе. Потому я выбрала место на людях, где мы будем не одни и потому я буду держать себя в руках. И не буду плакать.

Мы договорились вместе позавтракать в городском кафе, и там он отдал мне файл.

— Дракон — аномалия. Единственный в своем роде. Если бы даже он согласился на обследование, толку от него не было бы. Такие случаи у нас называются «казусы» — они любопытные, но с точки зрения выявления закономерностей для нас бессмысленны. Он просто жутко везучий старикашка. А теперь, учитывая, что исследования остановлены, это вообще не имеет значения.

— Давай съездим посмотрим, — попросила я.

Себе Нед заказал один тост и омлет из одного яйца. И то и другое он съел меньше чем наполовину.

— К вечеру вернемся домой, — не сдавалась я.

— К нему у нас никто не ездил. У нас даже не записано, жив ли он еще. К тому же… — Нед повозил вилкой в тарелке. — К тому же я не очень

хорошо себя чувствую.

— Я спросила у Нины, и она разрешила.

— Ты спросила у Нины? Мне что, пять лет? Я нуждаюсь в разрешении?

Да, глупость — это моя стихия. Я поискала глазами официантку, подозвала и заказала себе рисовый пудинг и чай. Когда я снова повернулась к столу, мой брат протирал очки уголком рубашки. Кожа под глазами у него шелушилась, и просвечивали розовые пятна.

— Она тебе сказала, — вздохнул Нед. Он не рассердился, а огорчился.

— Это я виновата, Нед. Я в том смысле… Я твоя сестра. Я должна знать, что с тобой происходит.

— А я что про тебя знаю? Давай смотреть фактам в лицо: мы практически незнакомые люди.

— Нед, — сказала я. — Мне ужасно жалко.

— Вот именно поэтому я не хотел говорить! — Теперь он на самом деле рассердился. — Не надо меня жалеть. Не надо так со мной разговаривать. Не надо этого дерьма. Не надо стоять на крылечке. Меня на самом деле тошнит от всего этого.

Теперь разозлилась я.

— Что ты хочешь сказать?

— Я хочу сказать, я еду на работу. Не надо меня ждать. Не надо думать, что все может закон-

читься как-то иначе. Не надо думать, что ты можешь что-нибудь сделать. И хоть раз в жизни, пожалуйста, не думай, что ты и тут тоже чем-то виновата.

Я выскочила из кафе. Жара была сумасшедшая. Мне показалось, я вот-вот задохнусь. Расплавлюсь и превращусь… интересно во что? Я-то хотела преподнести брату подарок. Сделать что-нибудь нужное. Подарить незабываемый день. Придумала, как всегда, глупость. Как обычно, ошиблась.

Брат тем временем расплатился и тоже вышел. Мы смотрели в разные стороны. Наконец Нед сказал:

— Предполагается, я должен попросить прощения за то, что умираю?

— Да. Должен. Как же ты, зараза, посмел?

Я сказала это слишком громко. Глаза жгло. Наверное, я действительно была ненормальная. Я сверлила его глазами. Я его ненавидела. Я подумала, что, если меня снова оставят, я больше не выдержу. Подумала, как же все приходит слишком поздно.

Мы стояли с братом на солнцепеке. Злые. Потные. Ставшие старше, чем когда-то могли себе представить. Такая ситуация была не свойственна для нас обоих. Я решила попробовать еще раз.

Видимо, Нед тоже. Он снова заговорил, сбавив тон.

— Нина сказала, ты помогла ей красить детскую, — сказал он.

В другом случае, менее страшном, эта тема и в самом деле была бы менее опасной.

— Я бы покрасила в красное. Я опять его стала видеть.

— Ладно. Я прошу прощения, — сказал мой брат. — Я виноват. Чтоб мне сдохнуть вместе с этой моей гребаной опухолью!

Теперь он отвернулся. У него все рушилось. Я терпеть не могла это слово. Теперь все рушилось у него.

— Значит, тебя нужно развернуть, чтобы твоя гостья не встала в ногах. Тогда она не сможет тебя забрать.

Нед рассмеялся. Взял себя в руки и снова повернулся ко мне. Тому, кто его знал, видно было сразу. Лицо изменилось. Осунулось. Побледнело.

— Эту мерзавку не обдуришь, — сказал мой брат с довольным лицом. — Мне всегда нравилась эта сказка.

— Почему? По-моему, она ужасная.

— Она честная.

Мы оба подумали про одно и то же.

— Ну, в сказке-то ее обдурили.

— Всего два раза, сестричка. А потом она забрала свое.

— Дракон обдурил ее дважды и до сих пор жив.

— Итак, значит, мы едем к Дракону. Так вот в чем дело? Выяснять условия сделки? Не сработает, девочка моя.

— Просто съездим, — сказала я. — Считай, что это обычный пикник.

— Не ты одна умеешь вынюхивать чужие тайны. Нина мне тоже все рассказала. У тебя появился бойфренд.

— Значит, мы квиты, — ответила я.

Как я это сказала? Обыкновенным голосом, как будто у нас был обыкновенный разговор?

— Ну да. Ты влюбилась, а я умираю. Конечно, мы квиты.

Я подумала, что за окном в кафе люди сидят в другой вселенной, где есть надежда, поддержка, здоровье, силы. Бессилие раздражает. Кажется, я ничего не могу сделать для Неда. Я была готова сдаться. Тут брат повернулся ко мне лицом.

— На твоей машине или моей?

— Ты серьезно?

— Ты в своей жизни хоть раз видела драконов?

Два часа мы ехали в северном направлении — я

вела, Нед все время спал. Нина сказала, что, когда ему только поставили диагноз, он попробовал химиотерапию, но от нее ему было так плохо, что он не мог работать, и врачи признали, что в таком лечении вреда больше, чем пользы. А Нед хотел продержаться до января, чтобы увидеть ребенка. Вряд ли у него было столько времени.

— Бог ты мой, задремал, — сказал Нед, проснувшись.

В двенадцать мы подъехали к окраинам Джексонвилла. Здесь оказалось еще жарче. Невероятно, но так. Кондиционер у меня в машине начал подтекать. Перегрелся, старичок. Мы заехали на заправку, и там я сверилась с дорожной картой, которую мне нарисовал кардиолог, некогда видевший Дракона. На самом деле я у него выклянчила эту карту, сказав, что я жертва молнии и мне нужна надежда. У него были все основания мне поверить.

От этого места нам предстояло двигаться по второстепенным дорогам, и я волновалась за Неда, как бы его не растрясло.

Я то и дело на него поглядывала.

— Прекрати. Смотри на дорогу. Блин, — вырвалось у него, потому что в этот момент мы влетели в яму.

На лужайке возле дороги стоял трейлер, снаружи возле трейлера сидел человек.

— Притормози, — сказал Нед.

Он вышел из машины и пошел поговорить с этим стариком, который сидел, вытянувшись в шезлонге. Шезлонг, кажется, у него был такой же, как у меня. Из «Хозяйственного магазина Эйкса». Похоже, они во всем штате у всех одинаковые. Нед поздоровался со стариком за руку, коротко поговорил и вернулся.

— До Дракона нам осталось пять миль. Но этот джентльмен в шезлонге говорит, что Дракон не вступает в разговоры с незнакомыми людьми.

— Да откуда этот придурок знает?

Я повернулась к трейлеру и увидела, как старик запер дверь и направился в нашу сторону.

— Этот придурок Драконов сын.

— Эй, — сказал наш новый знакомый, забираясь на заднее сиденье. — Меня зовут Джо. — Ему было лет семьдесят. Минимум. — Я провожу вас к отцу.

— У нас никогда не было отца, — сказал ему Нед, когда мы снова выехали на дорогу. — То есть он, конечно, был, но сбежал от нас.

— Сукин сын, — сказал Джо, сочувствуя нашему горю. — Отец живет прямо возле дороги.

— А теперь я, того гляди, помру, и мой ребенок родится без отца, — сказал Нед.

У меня перехватило горло. Когда заводят такие разговоры, нужно сосредоточиться и начать считать, иначе можно заплакать.

— Сравнил тоже, — сказал Джо, прикурив сигарету, и я ничего ему не сказала, хотя знала, что вонь в салоне потом не выветрится за месяц. — Это совсем не то же самое, что отказаться от ребенка. Но если ты не хочешь его бросать, так, может, имеет смысл задержаться?

— Задержаться? — сказал Нед.

— Не физически.

«Заткнись, старик», — хотела сказать я. С трудом сдержалась, чтобы ему не нахамить. С большим трудом. Я не желала такое слушать про Неда.

— Мы не верим в подобные вещи.

Джо подался вперед.

— А во что вы верите?

Мы задумались, как ответить, а старик вдруг заорал:

— Тормози давай!

Мы затормозили и свернули на скошенный луг. Вокруг было сыро и грязно, но я все же нашла сухое местечко, где и припарковалась. В двух шагах

стоял дом Дракона, маленький, похожий на мой. На заправке я купила пакет чипсов и газировку. Угощение, так сказать. Джо один пошел в дом — удостовериться, что отец в порядке, — потом высунул голову из двери.

— Заходите, — сказал он.

— Ты собираешься угощать девяностолетнего старика кока-колой и картофельными чипсами? — поинтересовался мой брат.

— Ай, отстань. — Я улыбнулась. Господи, до чего было жарко. — Что я должна была ему купить? Детское питание?

— Могу поспорить, кондиционера у него нет, — сказал Нед.

В доме был вентилятор под потолком, хотя вертелся он почему-то в замедленном темпе. Джексонвиллский Дракон выглядел немногим старше своего сына. Живой и подвижный.

— Приперли к стенке, — сказал Дракон. — Надеюсь, привезли чего-нибудь, чтобы я хоть не зря тратил на вас время.

Сидел он в квадратном кресле из искусственной кожи. Симпатичный такой старикан. Даже не лысый и даже еще не совсем седой. Я достала бутылку и чипсы, и Дракон удовлетворенно кивнул. Велел Джо принести всем нам льда из

холодильника.

— А у тебя чего? — спросил он у моего брата.

Нед посмотрел на меня. Ему не пришло в голову везти что-нибудь сюда.

— Хорошие часы, — заметил Дракон.

Нед улыбнулся, расстегнул браслет и вручил часы старику.

— Они очень точные, — сказал он.

— Нету времени точнее, чем сейчас, — сказал Дракон.

Это была шутка, мы поняли и засмеялись. Мы разобрали стаканы и расселись кто где на неудобных табуретках. Духота была страшная. Дракон задрал нижнюю рубаху и показал место, куда молния ударила его в первый раз.

— Он был мертвым четырнадцать минут сорок пять секунд, — сказал Джо с гордостью. — Я засекал.

Потом Джо снял с отца шлепанцы, и мы увидели его ступни. С распухшими суставами, они напоминали копыта.

— Артрит, — сказал Джо. — Это у нас семейное.

Потом показал нам отметины на подошвах.

— Молния попала в дерево, отскочила и рикошетом ударила в отца снизу, так что он упал замертво и провалялся так пятьдесят пять ми-

нут.

— Ну и как оно? — спросила я у Дракона.

— Забавно. Да вот как сейчас, — ответил Дракон. — Как сейчас тут с вами. Сидим вместе, но вы-то скоро уедете. Вот так и было. Только что вроде одно, а потом раз — и другое.

— А как вы вернулись?

Нед толкнул меня локтем. Наверное, я говорила со стариком слишком напористо. Но в конце концов, у нас действительно было мало времени. Потому-то мы и приехали.

— Если бы я знал, я бы не пошел через неделю покупать себе место на кладбище. Это было вроде как не кино, а вроде как предварительный показ. Вернулся и вернулся. — Дракон сделал глоток из стакана. — А теперь я сам хочу задать вам вопрос. А вдруг знаете. Зачем это все?

И мы все повернулись к брату, который один среди нас был ученым.

— Если мы чего-то пока не знаем или не понимаем, это еще не значит, что все бессмысленно, — сказал Нед.

— О как! — Дракон остался доволен ответом. — И я тоже так думаю.

Он протянул брату его часы. Старый «Ролекс». Нина подарила ему эти часы на десятилетие

свадьбы. Стоили они целое состояние, а тогда она, чтобы их купить, облазала в Орландо все антикварные магазины.

— Может, вернуть?

Нед покачал головой.

— Нет времени, кроме как сейчас, — сказал он.

— Тогда я вам кое-что покажу. У вас, значит, заплачено. Заслужили. Только не рассказывайте потом никому. Я им не клоун.

Идти пришлось долго. Его «тут рядом», как и всё во Флориде, оказалось довольно далеко. Нед устал, а Дракон шел медленно, особенно когда мы свернули на влажный луг.

— Клещей наберемся, — сказала я. — Или блох. Влезем во что-нибудь ядовитое. Какой-нибудь сумах.

— Чувствуешь, как пахнет? — Мой брат остановился и глубоко вдохнул. — Это потому, что здесь и морская вода, и пресная.

Земля там была просоленная, но тем не менее плодородная. Под верхним слоем почвы, покрытым белым налетом, скопилась чистая сладкая вода. Мы — оба старше, чем наша мать, — пробирались по топкому, грязному болоту, в жаркий полдень, стараясь идти шаг в шаг за двумя стариками.

— Я только хочу сразу предупредить: если увижу аллигатора, поверну назад.

Нед рассмеялся.

— А змеи, значит, не в счет, да?

Он кивком показал в сторону, и, заметив движение в траве, я схватила его за руку.

— Безобидная змейка, — сказал он. — Ее называют молочной, а еще королевской.

Тут я увидела, какой у брата счастливый вид. На руке, где раньше были часы, белела голая полоса. Штаны цвета хаки были перемазаны зеленью и грязью.

— Ну вот, пришли, — сказал Дракон. — Я умею плеваться огнем. Вы про такое знаете, да?

Да, я видела, как Лазарус поджигал бумагу, я обжигалась его поцелуями и в тот момент подумала, что меня-то не удивишь. Но Дракон и в самом деле дохнул огнем, и там, где пламя коснулось земли, вспыхнула сырая трава. Джо сбегал и затоптал огонь.

— Э-э, с точки зрения физиологии это невозможно, — сказал Нед.

Однако в голосе у него было восхищение. Глаза у него стали круглые.

— Мне тоже так говорили, — сообщил Дракон. — А я придумал, чем его гасить.

Он сунул руку в карман и вытащил оттуда что-то вроде луковицы тюльпана.

— Обыкновенный чеснок. Гасит внутренний огонь в человеке. Но делать это я сейчас не буду, я лучше вам кое-что другое покажу, оно того стоит. Чтобы не думали, что зря прокатились. Только дайте слово никому не рассказывать.

Брат перекрестился. У меня защипало глаза. Я думала о нем в Нью-Джерси, когда видела в небе летучих мышей. Думала про колонию муравьев, которых пришлось оставить, когда мы переехали к бабушке. Я все бросила легко, а брат нет; когда бабушка так сказала, он пошел за дом и отпустил муравьев. Я видела его из спальни. Я никогда об этом не говорила, но видела, как он плакал.

— Перекрестись, — сказал мне брат.

Я тоже перекрестилась. В тот момент у меня не было мыслей, желаний, слов. Я стояла в том *здесь и сейчас*, искусанная болотной мошкарой, посредине грязного луга, в промокших туфлях.

Неподалеку я заметила сухое дерево, то самое, от которого отскочила молния, что попала в Дракона во второй раз. Это был высохший, поросший лишайником дуб, мертвый, белесый, как пепел. Цветом напоминавший посреди этой зелени, этой жирной грязи, этих листьев, этой воды, этой

жары о том, что где-то в мире существует лед. Дракон пошагал к нему. Идти нужно было по колено в воде. На ходу он снял нижнюю рубаху, и я увидела знаки молнии на руках и на теле. Такие же, как у Лазаруса. Меня что-то остро кольнуло в сердце. Будто все, что происходило в ту минуту, уже было раньше, но только не со мной.

Дракон повернулся к нам и кивнул.

Он дохнул на высохший ствол, и тот занялся искрами. Дракон тут же принялся хлестать по нему своей рубахой и загасил огонь, но дело было сделано. Из нутра дерева в небо вылетели летучие мыши, десятки летучих мышей. Сначала они показались нам черными, но, когда поднялись и солнце заиграло, засияло в них, отражаясь, как в туче, они стали переливаться синим и фиолетовым. Мне показалось, будто я смотрю в лицо жизни и вижу все, что было со мной, каждую свою упущенную возможность. Из дыма, пламени, из ствола, изо льда они поднялись, как облако.

Нед прищурился.

— Ну и что вы про это скажете? — спросил он.

— Они есть везде, просто мы их не видим. Идешь, бывает, и думаешь, что ты один. А они, оказывается, тут, — сказал Дракон. — И не только они, просто мы ничего не видим.

Летучие мыши поднимались все выше; снизу они казались серо-коричневыми, как шлейф из осенних листьев, которые полетели вдруг не сверху вниз, а снизу вверх, словно время пошло вспять.

Плечи у меня обгорели, я едва не плавилась от жары, по ноге у меня полз клещ, но я не жалела, что пришла. Возможно, при других обстоятельствах мне бы захотелось остаться здесь навсегда, но я усвоила урок. Я все поняла. Нам дали то, за чем мы приехали. Нам показали способ, как обмануть смерть. Сделай вдох. Потом выдох. Смотри. Оно, черно-синее, взлетит и исчезнет в небе.

II

Я позвонила Фрэнсис Йорк, чтобы извиниться за то, что совсем перестала показываться на работе. В прошлой жизни, в Нью-Джерси, я была надежной, отзывчивой, прекрасной сотрудницей, которая брала на себя еще и общественные нагрузки и организовывала для коллег вечеринки. Теперь выяснилось, что я могу неделями прогуливать работу. Даже не позвонить.

— Нет, сейчас не приходи, — ответила мне Фрэнсис. — Приходи лучше в полседьмого ко мне домой. Дом номер тринадцать, Пальметто-стрит. Дом с большим двориком.

— Слушайте, я понимаю, вам хочется меня выгнать. Я все поняла. Значит, на работе мне больше не появляться. Прекрасно. Сама виновата.

— В жизни никогда никого не выгоняла и не собираюсь. Я тебя приглашаю к себе на обед.

Я ей не поверила. И оделась, как подобает в тех случаях, когда едешь к начальству, зная, что тебя выгонят. Просто и строго. Волосы я зачесала наверх, а голову повязала красной лентой, которую приобрела случайно, когда по дороге, все же струхнув, заехала в магазин и купила ей

мелкое подношеньице. Венерину мухоловку[23]. Во Флориде самый нужный цветок. Я, значит, умная. Практичная, надежная. Возможно, Фрэнсис посмотрит на нее и поймет, что я ей очень нужна, хотя на самом деле, конечно, в нашей библиотеке работы было столько, что двоим нечего делать.

Я никогда не была в доме у Фрэнсис, она жила на окраине старой части города, где дворы были просторные, не такие, как в центре, и походили на деревенские. Дом у Фрэнсис был выстроен в старом флоридском духе, крытый жестью, со ставнями, с капустными пальмами перед фасадом. Я припарковалась и вышла из машины, в хороших черных, неудобных туфлях и с цветочным горшком в руках. До конца дорожки я дойти не успела. Я увидела, что на крыльце сидит кто-то очень похожий на медведя. Начинало темнеть, а я видела не особенно хорошо. На мгновение я перепугалась. А потом сообразила, что это тот самый щенок с фотографии на рабочем столе, только выросший до кошмарных размеров. Это был ньюфаундленд. Песик, какому во Флориде в общем-то делать нечего, в чем я еще раз убедилась, услышав его тяжелое дыхание. Тут собачка

---

[23] Примечания: 23

Венерина мухоловка, или дионея, — хищное насекомоядное растение.

гавкнула, и на пороге появилась Фрэнсис. На ней были джинсы, старая рубашка, а голова была обмотана шарфиком. Она нисколько не была похожа на ту Фрэнсис, которая приезжала каждый день в библиотеку.

— Тихо, Гарри, — сказала она псу. — Бедняга. Какие-то студенты его взяли, а потом оказалось, что за ним нужно ухаживать, в конце концов они разъехались на каникулы, а его бросили. Каждый год одно и то же. Заводят и бросают.

— Хорошо, что не пони, — заметила я.

Я подошла, и Гарри вежливо меня обнюхал. Он был слюняв, но галантен. Я не ожидала, что у Фрэнсис будет такой любимец.

— Я думала, вы держите кошку, — сказала я. — В соответствии со стереотипом.

— А у тебя кошка?

— Строго говоря, она не моя кошка. Мне ее оставила прежняя моя сотрудница, когда уезжала на Гавайи. Обо мне она вспоминает, только когда хочет есть. Еще у меня был крот. Тоже не мой. Он был у меня на долечивании, потом я его выпустила. В кусты рядом с домом. Решила, лучше его отпустить, пока не залечила. Я ужасная неумеха.

— Сегодня Сет Джоунс объявлен в розыск, — сказала Фрэнсис.

— Что?

Мне показалось, я ослышалась. Мы говорили про домашних животных или я чего-то не поняла?

— Пойдем в дом, — сказала мне Фрэнсис.

Я пошла за ней, пес поплелся за мной. Кажется, она что-то сказала про Сета Джоунса?

Обедать мы сели в кухне. К моему приходу Фрэнсис приготовила лимонад из вишневого сока. Напиток в кувшине был розовый и совсем прозрачный, но я различала его цвет. Лучше бы она меня выгнала с работы. Но ей понадобилось завести со мной разговор про Лазаруса, о котором я слова ей не сказала, о котором точно знала только, что скоро его потеряю. Потеряю, но не сейчас. Пожалуйста, не сейчас.

— Шерифу кто-то позвонил из продуктового магазина. С этого началось, а теперь все думают, что там какое-то преступление. Никто не видел Джоунса с тех пор, как в него ударила молния, а разносчик из продуктового магазина клянется, что узнал того человека, которого видел в доме Джоунса, но который совсем не Джоунс. Говорит, что это тот парень, который у них работал, так что они теперь хотят его арестовать.

Фрэнсис подождала, пока я это все переварю.

— Думаю, тебе интересно, откуда я обо всем этом узнала.

— Да, откуда?

Думаю, вид у меня был изрядно ошарашенный. Я и на самом деле чувствовала себя так.

— Они пришли в библиотеку искать доказательства. Хотели найти его абонентскую карточку.

Фрэнсис налила мне в стакан лимонада.

— В ящиках ее не было, я нашла ее у тебя на столе.

Значит, она знала многое. Больше, чем можно было ожидать. Она видела меня насквозь.

Пес сидел со мной рядом — по-видимому, в надежде, что к питью дадут и печенья, — и дышал мне на ногу.

Я думала, что бы сочинить.

— Не надо, — сказала Фрэнсис, не успела я открыть рот. — Я не желаю знать, какое ты имеешь к этому отношение. Карточку нужно сжечь, а чтобы никто ни о чем не догадался, нужно сжечь их все.

Она открыла кладовку. Там были сложены все каталожные ящики из библиотеки, в том числе из подвала, и стоял затхлый, печальный запах старых бумаг. Фрэнсис перетаскивала это все

домой одна целую неделю.

— Никто не смеет совать нос, куда не положено, — заявила Фрэнсис.

Мы дождались, пока село солнце. Выволокли все ящики на задний двор, часть карточек вывалили в жаровню и полили их жидкостью для розжига. К тому времени стало совсем темно, так как небо еще и заволокло тучами. В моем рюкзачке лежали карточки Сета Джоунса. Те самые, которые я стащила. Я бросила их вместе со всеми.

— Большое спасибо за помощь, — сказала я. — И… я просто хочу, чтобы вы знали: он не совершал преступления. Ничего подобного.

— Не нужно ничего объяснять. Я тебе не помогаю. Я делаю то, что считаю нужным. Пусть шериф поищет другой способ выяснять, что произошло на самом деле.

Мы жгли карточки почти три часа. Допили лимонад и перешли на виски.

— Шериф придет завтра. Я сказала ему, что не могу так сразу все найти, мне нужно время. А завтра скажу, что старых карточек больше нет.

Я испугалась за Фрэнсис, потому что позицию та выбрала чересчур жесткую.

— Разумеется, нам опять урежут фонды. Если

библиотеку закроют, то нашим читателям придется ездить в публичную библиотеку в Хэнкок. Впрочем, возможно, университет пустит их к себе. А я тогда, наверное, уеду в Париж. В таком случае ты позаботишься о Гарри.

Я рассмеялась.

— Я серьезно.

Наверное, она говорила в самом деле серьезно. Лица у нас были в саже, под ногтями образовалась черная кайма, а пальцы мы порезали бумагой, когда рвали карточки.

— Ты ему понравилась, — сказала Фрэнсис.

Пес сидел рядом со мной, этакая гора меха.

— Ничего во мне такого нет, чтобы ему понравиться, — запротестовала я.

Ньюфаундленд вздохнул, и мы с Фрэнсис рассмеялись.

Мы прикончили виски, потом, чтобы протрезветь, выпили кофе. Когда дожгли карточки, пепел залили водой и собрали его в пакеты, которые я сложила в багажник. Все, больше не было никаких улик. Гарри проводил меня до машины и смотрел, как я уезжаю. Хороший он был пес, но у меня уже жила кошка.

По пути я нашла тихое место, где в закутке возле задней двери закусочной стояли мусорные

баки, и там выбросила пакеты. Потом прибавила газу и развернулась к выезду из города. Я думала, у нас есть время, и потому не позвонила Лазарусу. Позже я об этом пожалела. Мне в голову не пришло, что полиция среагирует так быстро. Еще не свернув с шоссе, я поняла, что опоздала. Я в тот момент перестраивалась в полосу съезда и оттуда увидела яму и деревья вокруг нее. Красных апельсинов больше не было. Все стали черными. С веток они падали, будто камни. Между деревьями мелькал синий свет мигалки.

Шериф в тот момент сворачивал в рощу, так что я не стала притормаживать, а сделала петлю и вернулась на хайвей. Меня трясло, как от холода. Я не знала, правильно поступаю или нет. Что, если нужно было ехать и требовать объяснений, мол, что происходит? Возможно, я запаниковала. Или, наоборот, поступила очень правильно. Короче говоря, я развернулась и уехала. Долго стояла на автозаправке в Локхолде и не знала, что делать, возвращаться или нет. Почти час я сама с собой спорила, наконец села в машину и поехала в Орлон.

Я найму адвоката, вот что я сделаю. Я буду защищать Лазаруса, даже если все решат, что он убил Сета Джоунса. Может быть, в их глазах

я буду выглядеть соучастницей. А может быть, ему вообще не смогут предъявить обвинение. На следующей заправке я снова остановилась. Я не знала, куда мне ехать, вперед или назад, потому решила стоять на месте. Только на этот раз я вышла из машины и позвонила в Нью-Джерси, в полицейский участок в Ред-Бэнке. Это было немного странно, и я точно не знала, правильно делаю или нет. Иногда принимаем решение мы, а иногда будто кто-то за нас. Может быть, я позвонила туда потому, что там находился единственный на свете человек, которому я доверяла. Которого я могла послушаться. Я стояла в темноте возле туалетов и бросала четвертаки в прорезь телефона-автомата. На хайвее рядом грохотали грузовики. Когда я дозвонилась, Джек Лайонс сначала молчал. Кажется, он не поверил, что это я.

— Конечно я, — сказала я. — Парковка. Ты и я, мы с тобой.

— Отлично, — сказал он. — Мы с тобой.

— Мне нужно кое о чем у тебя спросить.

В нашем маленьком городке Джек Лайонс нес ответственность за каждую смерть: за убийство, за самоубийство, за двойное убийство или заказное, за намеренное и непреднамеренное, за смерть от несчастного случая и за смерть по

естественным причинам. Когда он входил в дом престарелых, его обитатели крестились и отводили глаза, потому что сразу же понимали, что вскоре их станет на одного меньше. Когда он приходил в школу на беседу про безопасность в начальных классах — чтобы, значит, не совали пальцы в розетку, не хватали с плиты горячий чайник и т. д., — то там с кем-нибудь иногда случалась истерика, и приходилось вести беднягу в медицинский кабинет. И Джек всегда звонил мне, ему нужны были мои консультации, хотя он и сам прекрасно мог все найти в том же справочнике. Я это понимала. Он сам прекрасно все знал, так что звонил, вероятно, просто потому, что ему нравилось слушать, как я говорю ему: «Удушение, яд пасленовых, лихорадка Денге».

Или, возможно, ему просто не с кем было про это поговорить.

— Где ты? — спросил Джек. — Ты исчезла. Я тебе писал, а ты не ответила.

— Я во Флориде. Переехала. Здесь климат лучше.

Это была шутка. Здесь была стопятидесятипроцентная влажность, отчего даже мои прямые, как солома, волосы и те начали виться. А ночи пахли отравой.

— Я знаю, что переехала. Думаешь, я не поинтересовался, куда ты делась и что с тобой случилось? Я спрашиваю, где ты *сейчас.* Я слышу грузовики.

Я вспомнила о том, как он на меня всегда смотрел. Ему что-то от меня было нужно, но он ничего не получил. Я подумала, что, возможно, наши свидания были унизительны не только для меня.

— Прости меня, Джек.

— Ты просишь прощения за то, что уехала и даже не подумала написать? Или за то, что тебе всегда было плевать на меня и на то, что я чувствую?

— Я не знала, чего хочу.

— А теперь знаешь.

Я засмеялась. Наверное, он знал меня.

— Итак, о чем будем говорить? — продолжал Джек. — Или погоди, дай-ка я угадаю. Что там у нас с тобой было общего? Ну конечно. Разумеется, смерть.

То ли он теперь говорил иначе, то ли я раньше никогда его не слушала. Возможно, я не совсем правильно понимала смысл тех наших свиданий в машине. Возможно, он прекрасно видел мои камни и мой лед и понимал, что я считаю страдание своим долгом.

— Ты смеешься надо мной?

Я не привыкла к такому его тону. Я вообще отвыкла от его тона.

— Ага, детка, я Мистер Смерть. Давай спрашивай.

Я позвонила ему затем, чтобы спросить про Лазаруса, про то, что нужно делать, если ему предъявят обвинение в убийстве. Устроить ли побег или нанять адвоката. Но оказалось, я на самом деле хотела знать про другое.

Я заколебалась. Это было на меня не похоже; я поддалась чувству.

— Давай. Выкладывай, — сказал Джек. — Задавай свой вопрос. Давай: «Что, если?..»

Я так и сделала. Я задала ему только один вопрос:

— Что, если у тебя умирает брат, а ты ничем не можешь ему помочь? Что тогда делать?

Я слышала только грузовики. Скрип тормозов. Столько людей куда-то едут. Я стояла на заправочной станции посреди флоридской ночи. Я как будто никогда ни с кем раньше не разговаривала. Я слышала, как дышит Джек. Мне хотелось плакать. Я действительно не дала ему шанса. Он слишком многое знал про смерть и научился находить логику в нашем иррациональном мире.

— Тогда нужно найти что-нибудь такое, отчего бы он снова захотел жить. Только так.

— Наверное, это ты должен был бы сидеть у нас в справочном.

Куда бы я вдруг ни перенеслась тогда, все равно я была бы одна на свете.

— Нет, — сказал Джек. — Только ты.

Подъехав к дому, я сразу поняла, что у меня кто-то есть. Гизелла была на газоне, а я оставляла ее внутри. Запасной ключ лежал у меня в почтовом ящике. Найти его было несложно, и, когда я просунула руку в прорезь, ключа там не оказалось. Я присела рядом с кошкой на корточки, почесала ей шейку и оставила ее во дворе погулять еще немного. Она отнеслась ко мне без презрения — возможно, привыкла. На диванчике спал Лазарус, одна нога свесилась на пол. Он выглядел юным и ужасно уставшим, как будто добирался до меня всю ночь. Я заперла дверь на замок и отключила телефон. Рядом с диванчиком стояла спортивная сумка, и я отнесла ее в кухню. Знаю, нельзя так поступать, но я поступила. Я расстегнула молнию и посмотрела, что там лежит. Вероятно, мне хотелось убедиться, что он тот, за кого я его принимаю. В сумке лежали смена одежды, бумажник, в котором было несколько

сотенных, билет на самолет до Италии, паспорт на имя Сета Джоунса с фотографией Лазаруса. На дне я нашла деревянный ящичек с пеплом.

Я уложила назад все как было и включила кофеварку. Когда я доставала из холодильника новую пачку кофе, то заметила, что он потек — наверное, отключалось электричество. В доме у меня везде был беспорядок. Я не обращала на это внимания, но я почти там и не жила. Единственной вещью, которая для меня что-то значила, были развалины дорического храма, так и стоявшие на столе. Гизелле нравились колонны, она любила сбивать их на пол.

Я прошла к задней двери, позвала Гизеллу, но она не послушалась. Пришлось идти искать ее в кустах. Ночь была темная. Небо в зените стало того же цвета, что и летучие мыши, которых я видела днем: темно-синее, чернильное, местами черное, местами фиолетовое. Я раздвинула ветки, увидела Гизеллу и в зубах у нее Ренниного крота. Я узнала его по разорванному уху. Значит, сколько мы ни старались его спасти, все оказалось напрасно. Маленький крот, обманувший смерть, неподвижно лежал на траве.

— Плохая девочка, — рассердилась я на Гизеллу.

Я села по-турецки на землю, подняла крота, положила к себе на ладонь.

К тому времени, когда проснулся Лазарус, я успела похоронить крота, сварить кофе и позвонить своей невестке. Мой брат все еще не пришел в себя после поездки к Дракону, зато чувствовал себя совершенно счастливым. В первый раз за много лет ему снова приснились бабочки и летучие мыши, как сказала мне Нина. Он начал писать статью о теории хаоса на примере сказок. Работал как сумасшедший, почти всю ночь до утра. Он что-то там понял и теперь хочет про это написать, пока еще может. Про то, что самое незначительное действие, совершенное самым, казалось бы, незначительным существом, или же бесконечно малое по значимости решение способно повлечь немыслимые последствия. Гибель одного крота есть просто его гибель, а гибель второго сказывается на тех, кто пытался его спасти. Одно слово способно изменить мир. Рука может превратиться в крыло, зверь — в человека, девушка может умолкнуть на целых сто лет — попавшись в ловушку своего времени или места, — и юноше придется обойти целый свет, чтобы узнать, кто он такой.

Я прилегла рядом с Лазарусом на диванчик. Он

открыл глаза. Пепел к пеплу… В них было столько печали…

— Эй, — сказал он. Он собрался было меня обнять-поцеловать, потом передумал. — Лучше воспламенись-ка сама.

Я покачала головой. Я запомнила, что Дракон сказал про огонь. Я дала Лазарусу две очищенные дольки чеснока.

— Это твое лекарство, — сказала я.

Другой человек, возможно, начал бы спрашивать и провалил бы экзамен. Лазарус только посмотрел на меня и съел обе дольки. Я положила голову ему на грудь. Жар, должно быть, сразу унялся, потому что я не обожглась.

Лазарус тоже увидел грузовик доставщика и тоже его узнал — того звали Хэл Эванс. Он его запомнил, потому что, когда работал в магазине, это был его сменщик. Хэл как-то явился пьяным и ругал Лазаруса по-всякому. Лазарус случайно забыл на дорожке пакет с удобрениями, и Хэл споткнулся. Хэл был самый опасный для него человек, и именно он и явился в рощу. Возможно, и до него дошли слухи, ходившие среди сборщиков апельсинов, что, мол, хозяин у них чудовище, что он не желает показываться на глаза и что в доме нечисто, коли окна все время закрыты ставнями.

Как только Хэл Эванс уехал, Лазарус собрал вещи. Прежде он ждал неизвестно чего, а сейчас у него была конкретная цель: выяснить, что будет дальше. Позже, днем, появился какой-то человек и разговаривал с его рабочими. Рабочие стояли вокруг него и то и дело оглядывались на дом. Вечером Лазарус вышел из дома через заднюю дверь. Звонить мне он не рискнул, решив, что телефон у него теперь мог прослушиваться, но пора было уходить, и он точно знал зачем: чтобы стать снова свободным.

Его била дрожь, и я укрыла его пледом. Утро было солнечное. Мы щурились от яркого света. Я сказала себе: никаких желаний, но если вдруг я случайно все равно что-нибудь пожелаю, если не смогу удержаться или если вдруг так окажется нужно, то пусть это мое единственное желание будет для него и ради него. Лазарус снова задремал: он слишком устал и слишком перенервничал. Я решила: пусть немного отлежится. Ночью ему досталось. Я смотрела на него. Я слышала чесночный запах его дыхания — запах исцеления, запах конца. Или начала.

Потом я переоделась и пошла в банк. Там, в очереди, стояла Пегги, мой врач по лечебной физкультуре; увидев меня в отличной форме, она

заулыбалась.

— Вы здорово поработали, — сказала она. — Просто другой человек.

В самом деле? Да, поработала. Выполнила все те упражнения, от которых плакала, когда пыталась оживить левую половину. Сейчас эта половина вела себя почти нормально, хотя кое-что, конечно, осталось, например ощущение металла внутри, в грудной клетке. Снаружи его не было видно, как у Ренни, но металл там был.

Я сняла деньги со счета, оставив только сто долларов, чтобы не закрывать его.

— Решили сделать крупную покупку? — спросил кассир.

В этом городке все знали всех. Даже меня.

Я улыбнулась. Да, решила. Я сказала, что хочу купить подержанную машину. Старый «корвет».

— Завидую, — сказал кассир.

Оставшиеся после продажи бабушкиного дома пятнадцать тысяч теперь аккуратно уместились в рюкзачке.

— Красный, — сказала я.

— Самый лучший цвет, — ответил кассир.

Я пошла на парковку. Там стояла моя «хонда». Хорошая «хонда», с хорошими, безопасными шинами, которые мне в Нью-Джерси купил мой

брат. Когда я приехала домой, Лазарус еще спал. Я его хорошо понимала. Он не хотел просыпаться. Я села в кресло с ним рядом. По-моему, я тогда плакала. Я любила его, и мне было жаль, что все кончилось. Что теперь начнется что-то другое. Я любила его и не хотела ничего другого.

День уже начал клониться к вечеру, когда я села к нему на диванчик. И шепотом сказала, что пора вставать.

— Нет, — сказал он.

«Да, — подумала я. — Ты этого хочешь».

Я никогда не отпущу то мгновение, даже если оно будет всю жизнь мне причинять боль. Даже если я состарюсь и буду без ног, без глаз, я все равно его не отпущу — и оно будет со мной.

Он решил, что мы едем вместе. Кошку мы выпустим, ее кто-нибудь подберет и о ней позаботится. Что в этом такого? Кошки тоже живут своей жизнью. Брату я могу написать письмо и отправить по почте откуда-нибудь с дороги, еще отсюда, а потом мы уедем туда, куда я тоже хотела попасть всю жизнь — в Париж, в Венецию.

Деньги он уложил в спортивную сумку. Я смотрела на его руки. Я ничего не видела, кроме его рук.

Вот и все. Вот и конец. Бездна. Кто видел ее

однажды, тот знает, что там такое. Там твоя разгадка. Там истина.

Лазарус принял душ, выпил кофе со льдом, съел миску холодного томатного супа. Из-за жары и высокой влажности все липло от пота. Было очень поздно, когда мы вышли из дома. Боковыми дорогами мы доехали до Джексонвилла. Я помнила эту дорогу. Я поехала туда, потому что нас там никто не знал. Мы ехали час, два. Как будто в самом деле уезжали вместе. Он обнимал меня одной рукой. Я чувствовала его руку, но дело было не в этом. Он уже должен был понять, что я не еду с ним, должен был заметить, что кошку я оставила в доме, чего бы не сделала, если бы не собиралась вернуться. Я не из тех людей, кто способен забыть про домашнего питомца.

Я привезла его на автобусный вокзал. Ему нужно было лишь найти человека, который бы исправил ему в паспорте дату рождения, и тогда он по-настоящему станет Сетом Джоунсом. А пока что, без паспорта, нужно было выбираться из Флориды. Я купила один билет на ближайший автобус; автобус шел в Атланту.

Мы сидели вместе на автобусной станции до пяти утра. В пять автобус ушел. И вот ведь какое дело: мы не смотрели друг на друга. Не просили

ни о чем. Мы уже отдали друг другу все, что у нас было.

— Значит, вот и все, — сказал он.

Вокруг нас спали люди. У них была своя жизнь, и никто на нас не обращал внимания. Мать баюкала ребенка в красном свитере. Сквозь мутное от грязи окно светило солнце.

«Нет, не все, — подумала я. — Все только начинается».

ГЛАВА 7
БРАТ И СЕСТРА

I

Брату снились бабочки, и мы понимали, что осталось недолго. Они снились ему даже днем, потому что теперь он засыпал даже днем. Метеорологическое общество поначалу не приняло его доклад «Теория хаоса и сказки». Мне пришлось сидеть с ним весь вечер, пока Нина ездила к председателю общества. Вернувшись, она сказала, что они изменили решение.

К тому времени, как Нед приехал делать доклад в Вашингтон, округ Колумбия, он уже не вставал с инвалидной коляски, так что ведущему пришлось опускать микрофон и, чтобы услышали ослабевший голос Неда, просить полной тишины в зале. Суть доклада заключалась в том, что сказки, отменяя для нас привычный порядок, дают свободу нашим самым невероятным, иррациональным желаниям. Основной тезис звучал так: волшебство реально. На этом тезисе строилась его теория хаоса: если самое слабое, малозаметное, незначительное действие способно повлиять на отдаленный сегмент мироздания, меняя там даже погоду и климат, то в таком случае возможно буквально все. Малозначительное решение

взять в руки иголку с ниткой, которое принимает девушка, приводит к тому, что она засыпает на сто лет. Падение в колодец золотого мяча изменяет окружающий мир[24]. Оброненное птичье перо, взмах крыла бабочки — каждое из этих действий порождает волнообразную цепочку последствий, пронизывающих собой все вокруг, порождая изменения по другую сторону леса, горы, мироздания. Если мы вдохнули пылинку, то, значит, ее подняло чье-то дыхание. Та личность, которой мы являемся, те климатические условия, которые существуют на данный момент, все то, что мы видим вокруг себя, — это есть результат воздействия колдовских чар, которых мы не в состоянии ни понять, ни объяснить.

Зал аплодировал стоя, как рассказывала мне Нина. Они вернулись из Вашингтона, и мы вдвоем заканчивали детскую: рисовали на стенах акварельными красками. Нине было не рекомендовано этим особенно увлекаться — у нее была предэклампсия, гипертония беременных, — но она приходила с занятий и шла в детскую рисовать цветы и деревья. Нед тоже иногда приходил на нас посмотреть, и мы тогда отвлекались и

[24] Примечания: 24

Имеется в виду сказка братьев Гримм «Король-лягушонок, или Железный Генрих».

принимались шутить с ним, но он почти сразу же засыпал. Работа подходила к концу. Нина начала рисовать солнце. А я луну.

Иногда брат вскрикивал во сне, иногда звал кого-то.

— Это бабочки, — сказала Нина. — Они ему снятся.

У Нины под глазами залегли черные круги. Брату уже выписаны были все возможные обезболивающие препараты. Можно было бы только радоваться, если бы это не означало, что конец совсем близок.

Я напросилась к ним в помощники на полный день, и Нина разрешила. Библиотеку, как и предсказывала Фрэнсис, закрыли. Так что я стала безработной и старалась освоить все плюсы безделья. Я не думала, что со мной будет, когда закончатся деньги. Я могла в любой момент пойти работать кассиршей в «Хозяйственный магазин Эйкса». Был бы там у меня своего рода справочный отдел. Я искала бы ссылки на пилу, на молоток, масляную краску, передник, тиски. Все бы это выучила и знала бы наизусть.

Но пока что у меня было время. Я ходила в магазин, я отвозила в прачечную белье. Я в кои-то веки чувствовала себя нужной. Я начала рисо-

вать на стене бабочек. И еще я тоже стала видеть их во сне. Я думала про Лазаруса, который уже был в другом полушарии. Его я тоже видела во сне, но его — редко. Я в то время была слишком занята другими мыслями, чтобы вспоминать о нем часто.

Мой брат постарел — так, как стареют больные. Когда он спал в своей инвалидной коляске, ему можно было дать сто лет, и от этого становилось больно. Потому, когда он впадал в дремоту, мы с Ниной выходили из дома, даже в самую жару. Вокруг дома у них была изгородь из самшита. Мы садились в ее тени. Нина плакала, я на нее смотрела. Один раз я встала и пошла в кухню, чтобы принести Нине воды со льдом, и увидела через окно брата.

— Как ты думаешь, мы во сне видим то, что нам на самом деле нужно? — сказал в кухне мой брат. В тот момент он выглядел абсолютно проснувшимся.

Я села за стол.

— Ты о чем?

— Мне приснились бабочки. Монархи. Миграция. Их были тысячи. Хаос. Всё в один момент. Мне всегда хотелось это увидеть. Я так хочу это увидеть.

Он выглядел очень расстроенным. Раньше я не замечала, чтобы брату чего-то хотелось так сильно, так остро. Старика в Джексонвилле он хотел увидеть совсем не так. Бабочки для него были важнее. В них существовал для него какой-то особенный смысл. Свершение и завершение.

Мы не слышали, как вошла Нина, которая отправилась меня искать. Глаза у нее были заплаканные, но в ее облике чувствовалась неколебимость, как тогда во дворе, когда я за ней подглядывала. К ее одежде прилипли травинки. Она пахла зеленью и самшитом. Она была намного сильнее, чем казалось со стороны. Со стороны было вообще не понять, что она за человек. Наверное, как раз тогда она и придумала свой план. Когда услышала про миграцию.

Раз в неделю приходила медсестра, которая сидела с Недом, пока мы с Ниной ездили в университетский центр здоровья, где она занималась по методу Ламаза[25]. Все другие в группе были моложе: аспиранты с аспирантками, молодые преподаватели с женами, две лесбийские парочки. Все вроде бы оптимистично смотрели

---

[25] Примечания: 25

Ламаз Фернан (1890–1957) — французский врач, разработавший метод физической и психологической пренатальной подготовки, основанной на дыхании, предусматривавший участие отца в родах.

в завтрашний день. В выходные ходили друг к другу в гости. Мы в их встречах не участвовали. Может быть, они про нас думали, что мы тоже парочка. Впрочем, как раз на этих занятиях мы действительно были парой.

— Она дышит лучше всех в группе, — рассказывала я Неду.

— Конечно. Само собой.

Он гордился ею. Он был в нее влюблен. Но все-таки он был уже не совсем с нами. Он часто сидел возле окна и смотрел во двор, и я не знала, видит ли он там то же, что мы, или что-то свое.

Неожиданно пришла открытка от Сета Джоунса. Она была из Флоренции, и, значит, ему удалось уехать. Он писал: «Думаю похоронить прах в Венеции. Хочу, чтобы ты была со мной. С. Дж.».

Но я этого не хотела. Я хотела быть там, где я была, хотела сидеть весь день рядом с братом, готовить обед, мыть посуду, а вечером играть с Ниной в карты. Потом как-то пришла бандероль для брата от Джека Лайонса, а в ней был банный халат.

— Кто такой, черт подери, этот Джек Лайонс? — спросил брат.

Халат ему понравился, но было неловко получать подарок неизвестно от кого.

— Ты с ним учился в школе в Ред-Бэнке. А я с ним спала.

— У него хороший вкус, — сказал Нед.

— Заткнись.

— Я про халат.

Джек, значит, понимал, в чем нуждается умирающий человек. Он в этом разбирался лучше меня. Он потом еще присылал подарки, хотя я ему больше не звонила. Нед даже начал их ждать. Предвкушал что-нибудь новенькое. Один раз пришла пленка с записью птичьих голосов, и Нед любил ее слушать, а сам дремал рядом. В другой раз — толстые шерстяные носки. А один раз — здоровенная коробка помадки, какую делали раньше. Есть ее брат не мог, но ему понравился запах.

В конце концов я позвонила в Нью-Джерси.

— Не нужно ничего присылать моему брату, — сказала я Джеку.

— Не нужно указывать, что мне нужно и что не нужно, — ответил он.

На это трудно было что-то возразить.

— Он любит слушать птичьи голоса. И ему понравилась помадка.

Я была рада, что Джек меня не видит. Я была в тонких серых трениках и в футболке, на коленях

у меня устроилась Гизелла. Сидела я в темноте, чтобы поменьше платить за электричество. Незадолго до этого я все-таки пошла проситься на работу к Эйксу, а меня не взяли, сказав, что у меня не та квалификация.

Я стискивала трубку. Я плакала.

— Я знаю, что ты делаешь, — сказал Джек.

— Ну ты же такой специалист, — сказала я в нос, горько, с отчаянием.

— Кое в чем да. Мой опыт показывает, что, как правило, люди плачут, когда у них есть на то причина. Смеются тоже.

В следующий раз он прислал ветряные колокольчики. Брат попросил повесить их над окном. Каждый раз, когда дул ветер, они звенели, и он улыбался. Подарок для брата был еще и напоминанием для меня. В жизни всегда остается что-то хорошее.

— Я его знаю, этого Джека? — спрашивал Нед.

Теперь он мог спрашивать об одном и том же по нескольку раз. Сам он слабел, и память слабела.

— Нет, — ответила я. — И мы не знаем.

— У него хороший вкус.

— Вроде бы да, — не стала спорить я.

По вечерам, если Нина совсем уставала, я садилась рядом с братом и читала ему сказки.

— Почитай мою любимую, — сказал он однажды.

— Ее в этой книжке нет, — соврала я.

— Врушка.

Но я не могла читать про смерть, ни тогда, ни после, когда конец был совсем близок. Тогда я прочла про Гензеля и Гретель, про куст можжевельника, про братца и сестрицу[26], про рыбака и его жену, про верного коня, а потом взяла и рассказала ту сказку. Свою, которую сочинила сама, — про замерзшую девушку, которая ушла от людей жить на склоне горы.

— Очень печальная сказка, — сказал мой брат. — Всего-то и было нужно, что уйти подальше от таких соседей и идти побыстрее, она бы и не замерзла. Я и в детстве, когда ты мне ее рассказала, не мог понять этой девушки.

Я хотела все изменить, но не могла. Сто раз в день с языка готово было сорваться желание, но я сдерживалась. Я боялась произнести его вслух. Боялась желаний. А Нина не боялась. Она побывала у врача, и врач сказал, что ей уже нельзя пользоваться транспортом. Прошло, значит, уже полгода, и Нед продержался. Он любил положить

---

[26] Примечания: 26

«Гензель и Гретель», «Куст можжевельника», «Братец и сестрица» — сказки братьев Гримм.

руку на живот Нины и чувствовать, как шевелится ребенок. Ничего мне не говоря, Нина купила ему билет в его сон. Она научила меня вводить демерол с антибиотиком. Показала, как ставить капельницу, чтобы не было обезвоживания.

— От чего лучше умереть? — спросила я однажды вечером у Джека.

Я обычно звонила ему на работу, а в тот раз позвонила домой. Он, похоже, опять удивился моему звонку, но ответил сразу.

— От жизни, — сказал он. Не задумываясь ни на секунду. Будто ответ был давно у него готов.

Когда Нина объявила, что хочет, чтобы я отвезла Неда в Калифорнию, я, честно говоря, пришла в ужас. Сама она не могла ехать, так как ей было нельзя. Но я оказалась не готова к такому. Я вообще ни к чему не была готова. А брат угасал. Теперь мы держали его в подгузниках. Он как будто возвращался назад, в детство. Просыпаясь, он всякий раз говорил про бабочек. Раз в жизни он о чем-то просил, первый раз в жизни. Нина позвонила в Монтерей, где у нее жила подруга Элиза, по совместительству медсестра, к которой мы ехали, чтобы та заказала медицинский транспорт и забрала нас из аэропорта. Миграция бабочек уже началась, как она сказала Нине. Ее муж, которого

звали Карлос, пообещал отвезти нас в Биг-Сур[27], куда и слетаются монархи. Если понадобится, он доставит нас туда на сантранспорте.

— Не слишком ли много всего этого будет для него? — сказала я.

— Этого мало, — ответила Нина.

У нее был по-прежнему твердый взгляд. Взгляд женщины, которая изучила книгу о том, как умирать. Которая решила дать моему брату то, в чем он нуждался.

Я собралась в тот же вечер. Взяла только самое необходимое, учитывая, сколько нужно было везти с собой лекарств. Нина наняла санитарный самолет. Ради этого она перезаложила дом. Пусть потом она всю жизнь будет ездить в старой машине, пусть даже им с ребенком всю жизнь придется ходить пешком, есть рис, читать при свечах, но Нина не желала отказываться от своей затеи. Пусть даже не будет с ним рядом.

— Ты полетишь смотреть на бабочек, — сказала она ему утром в день нашего отъезда.

— Нет.

Он в ответ улыбнулся. Он не поверил. Он продолжал свой путь назад в прошлое. Теперь наша

---

[27] Примечания: 27

Биг-Сур — знаменитый живописный район к югу от Монтерея, где находится гора Санта-Лючия.

мама в день своей смерти снова была его старше. А я стала старшей сестрой. Теперь был мой черед брать дело в свои руки.

— Я не могу лететь в Калифорнию из-за ребенка, с тобой полетит твоя сестра.

Брат закрыл глаза, обессиленный одной только мыслью.

— Откуда ты все знаешь?

— Оттуда, что я тебя люблю, — сказала Нина.

Она стояла на коленях возле его постели. В жизни я не видела такого великодушия. Ноги у Неда торчали из-под одеяла, одетые в обе пары толстых носков, присланных Джеком. Над окном звенели железные колокольчики. Я за всю свою жизнь ничего не сделала правильно. Я ужасно боялась ехать.

— Не волнуйся, — сказала Нина.

В аэропорт нам пришлось его везти в «скорой» — как же я могла не волноваться?

— Ты справишься.

По крайней мере, эта ее Элиза — медсестра. Она мне поможет.

— Ты уверена, что хочешь этого? Возможно, тебя не будет рядом, когда это произойдет.

Я имела в виду: *когда он уйдет.* Но не смогла заставить себя произнести это вслух.

Нина обняла меня. И открыла мне свою тайну.

— Буду, — сказала она.

Мы сделали брату инъекцию, введя максимальную дозу демерола, и его погрузили в самолет. Нас сопровождали двое врачей, так что за время полета мне удалось немного поспать. Когда я проснулась, мы как будто парили в невесомости. Самолет завис среди облаков. У брата стояла капельница, в двигателях что-то тикало. Я сообразила, что зато у меня в затылке давно перестало тикать. Мне с моего места было видно пятки брата, в носках, которые прислал Джек. Наверное, я заплакала. Один из врачей, мой примерно ровесник, сел со мной рядом и взял меня за руку.

Когда мы перелетали через горы, у брата начался приступ. Небо там было яркое, какого я никогда не видела, и в нем плыли редкие пушистые облака. Я подумала, что, наверное, в Италии тоже такое небо. Такое же синее. Такое же просторное. Мы плыли в нем сквозь пространство и время. Но мне не хотелось бы остаться в нем навсегда. Приступ был короткий. Под надзором врачей я сама сделала Неду инъекцию, чтобы убедиться, что выполняю все правильно.

— Отлично, — сказал врач. — Просто профи.

Мне не хотелось вступать с ними в контакт

— ни с ним, ни с его молодой напарницей. Во мне больше ни для чего не оставалось места, только для моей тогдашней ноши. Я стала рассказывать брату про облака.

— Кучевые, — определил он.

Губы у него пересохли, женщина-врач, сопровождавшая нас, дала ему пососать кусочек льда.

— Лед, — сказал он. — Приятно жжет. Пока на крыльцо не упадет.

Мы засмеялись.

— Домашняя шутка, — сказала я врачам.

Когда мы приземлялись в аэропорту Сан-Франциско, Нед спал. Возле посадочной полосы нас ждала машина «скорой помощи», возле которой стояла подруга Нины Элиза. В детстве они с Ниной жили по соседству в Менло-Парке[28] и были полной противоположностью друг другу. Элиза была темноволосая и жизнерадостная, что чувствовалось даже там, в той машине, где брат мой стонал от боли.

— Мы ему выделим отличную большую кровать, — утешала она меня. — Мы все сделаем, все будет в порядке, — говорила она брату.

Мы еще не успели выехать с летного поля, как

---

[28] Примечания: 28

Менло-Парк — небольшой город в западной части Калифорнии.

она уже позвонила Нине, а потом дала трубку Неду. Услышав голос жены, Нед улыбнулся. Не знаю, что ему говорила Нина, но как-то она его успокоила, он уснул и проспал всю дорогу, долгую дорогу до Монтерея и дома Элизы, так что и я тоже успела вздремнуть, прижавшись щекой к окну.

Первое, что я увидела, проснувшись, была зелень. Потом небо, потом облака.

— Почти приехали, — бодро сказала Элиза.

«Скорая помощь» сворачивала на подъездную дорожку. Я села рядом с Недом и сидела, пока готовили носилки. Оттуда мне было видно, как навстречу врачам из дома вышел муж Элизы. Врачи были другие. Не те, которые с нами летели в самолете.

— Моя спина, — сказал Нед. — Болит хрен знает как.

— Ну, значит, у тебя шило в заднице.

Шутка была тысячелетней давности. Он вспомнил.

— Это у тебя шило. У тебя.

Наверное, Нед в то утро составил тарелки в мойку, как только их увидел. Наверное, он сразу стал их убирать, потому что понял, что означал этот оставленный нам завтрак. Среди всех алогичностей жизни он повел себя логично. Он

навел порядок.

Я выпрыгнула из машины, чтобы не мешать Карлосу и врачам доставать носилки. Вокруг все было очень красиво. Я пригляделась, сощурившись. Ну, точно. В саду мелькнула летучая мышь.

— Идите поспите, — сказала Элиза. — Мы вас разбудим через пару часов, а потом сразу двинемся.

Она была медсестрой. Она видела состояние Неда. Видела, что он может уйти в любую минуту.

— Я не хочу спать, — возразила я.

— Час, — твердо сказала Элиза. — Один час, и поедем.

Они разобрали для меня диван. Они были очень добры, и я принимала их доброту, хотя знала, что никогда больше их не увижу и никогда не смогу отблагодарить.

Проснувшись, я услышала, как мой брат разговаривает с Элизой. Она его спрашивала, чего он хочет — яблочное пюре, или домашний ванильный пудинг, или размоченный в воде крекер.

— Нет уж, — сказал Нед. — Не перевариваю крекеров. Это шутка. Уловили?

Я услышала смех Элизы. Поднялась, нашла ванную, умылась. Начинался новый день. Начи-

налось *после того*. Чужой расческой я причесала волосы. Теперь они у меня были длинные, не как тогда, когда мне было восемь лет. Длинные. Черные. Прямые. Вороньи.

Я вошла в комнату для гостей. Вид у брата был совершенно счастливый. Он выглядел как невесомое облачко.

— Угадай, где мы, — сказал он.

— В твоем сне?

— В Калифорнии, в Монтерее, — сказал брат.

Он был все еще здесь. Здесь и со мной. И я была благодарна за это.

Карлос вместе с Элизой перенесли и устроили его в фургоне. Возможно, «скорая» отказалась ехать за город в лес, а нам нужно было именно туда. Я села впереди, а Элиза сзади, чтобы следить за капельницей и сделать инъекцию, когда понадобится. Снова мы отправлялись в путь, но на этот раз короткий. Карлос сел за руль. Он работал в управлении парков.

— Мы на этой неделе еще не объявляли о начале миграции, — сказал Карлос. — Так что туристов там, наверху, нет. Плюс мы сами толком не знаем когда. Летают, летают, а потом все сразу как налетят. Тогда повсюду только они и есть. Знай поворачивай голову. Вы приехали как раз

вовремя, Нед! — крикнул он брату.

Ехать было недалеко, но лесная дорога все время петляла. В жизни я не видела такой красоты.

— Тебе что-нибудь оттуда видно? — крикнула я Неду.

Он лежал на спине, и ему было видно небо.

— Перистые облака, — крикнул он в ответ.

Голос у него был, как у столетнего старика. Но в нем слышалась радость. Когда целую вечность назад я вошла в кухню, он что-то выбрасывал в мусорное ведро и составлял в раковину тарелки. Мама оставила нам на столе две миски с хлопьями, два стакана с соком, наши витаминки, сахарницу, две ложки и ягодный пирожок. Пирожок был разрезан на две части.

В то утро я вошла на кухню, еще не проснувшись окончательно. Мой брат, который знал тогда то, чего не знала я, посмотрел на меня виновато. Посмотрел так, как будто у него была стыдная тайна.

«Еще рано. Иди ложись».

Над океаном тянулись прекрасные длинные, ровные облака. Вдоль берега возвышались огромные черные скалы. Дорога петляла. Запах был незнакомый. Я высунулась из окошка, набрала в грудь воздуха. Меня затопило, захлестнуло

ощущение *здесь* и *сейчас.* Я больше ничего не хотела. Все было так, как нужно. А я просто была, где была, — высунув голову, подставив ветру лицо, со слезившимися от ветра глазами. Пахло потрясающе.

— Эвкалипты, — сказал Карлос. — На них и слетаются бабочки. Сюда, в эвкалиптовую рощу.

Я перестала чувствовать время. Мне казалось, мы едем сутки. «Еще утро», — услышала я от Элизы. Я тогда к ней испытывала чувств больше, чем к старым знакомым, которых знала много лет.

— Он держится, — сказала Элиза, но по ее тону я поняла, что осталось недолго.

Мы свернули на стоянку. Прямо перед нами возвышалась Санта-Лючия. Везде были скалы, поросшие лесом. Океан оказался таким синим, что я с трудом верила глазам. Мы приехали на туристскую территорию, но в такую рань стоянка была пуста. Раз в жизни нам повезло. Потрясающе повезло.

— Вот, всё в нашем распоряжении, — сказал Карлос. — Даже тумана нет. Чудо просто.

Втроем мы вытащили Неда из машины. Я держала штатив с капельницей.

— Зелень, — сказал Нед.

Да, над головой была зелень. Эвкалипты.

Фантастические эвкалипты. Яркие, как будто свежевыкрашенные. Мы двигались по дорожке, очень медленно; на сосновых иглах легко можно поскользнуться, так что осторожнее, осторожнее. Воздух был одновременно прохладный и теплый — в тени голубоватого оттенка, на солнце лимонного. Мы поднялись наверх, и сначала мне показалось, что это падают листья. Все от листьев было рыжее. Красно-оранжевое. Везде.

Но это были не листья.

Я наклонилась к брату и прошептала:

— Их тут столько, ты не поверишь.

Мы вышли на открытое солнце, и там они были на самом деле везде. Впереди, на площадке для отдыха, стояли столы для туристов, крепкие деревянные столы, и на один мы водрузили носилки. Осторожно, очень осторожно.

— Вот это да, вот это да, — повторял брат.

Бабочек было море. Океан бабочек. Слышен был шорох их крыльев. Я встала, растопырив руки в стороны, и они меня сразу облепили: и руки, и волосы.

Карлос с Элизой, обнявшись, стояли на скамейке.

— Еще, — сказали они хором и рассмеялись, потом повернулись друг к другу, а бабочки закру-

жили между ними оранжевым столбом.

Бабочек было столько, что не сосчитать, — тысячи тысяч. Медленно, как будто сонно, они кружили всюду, куда только падал взгляд. Наступал пик миграции, и они были утомленные и прекрасные. Рыжие и, как рубины, темно-красные, красные, красные.

Я попросила у Элизы телефон. Связь была паршивая, но, когда я поднесла трубку к уху Неда, он услышал Нину. Узнал ее голос.

— Все изменилось, здесь все изменилось.

На эти слова ушли все его силы. Он замолчал, мы выключили телефон и стали ждать. Мне страшно хотелось его развернуть. «Ну-ка быстро, — хотелось мне сказать, — ну-ка быстро. Голову туда, ноги сюда. Покажем последний фокус. Пусть смерть убирается восвояси, пусть убирается. Пожалуйста, разреши мне попробовать». Ничего этого я не сказала. Я вообще ничего не сказала.

Под конец Элиза убрала капельницу. Что-то щелкнуло, а потом наступила тишина. Кто бы мог подумать, что на свете столько бабочек. Кто бы мог подумать, что все может взять и измениться в одно мгновение. Но вот ведь оказалось, что может.

Над нами кружили бабочки, которых подхватывал и нес прохладный океанский воздух. Оранжевая туча. Она плыла быстро. Летела быстро. Хорошее средство поднять настроение. Хорошее во всех смыслах. Хорошее для него.

II

Нина назвала дочь Марипозой[29]. Девочка родилась в январе, в день, когда на флоридском небе не было ни единого облачка. Я проверяла. Я теперь слежу за такими вещами. Я была с ними, когда она родилась; это я говорила: «дыши», и «тужься», и «какая красавица, в жизни не видела такой красавицы». Я смотрела за ней с первого дня, а потом меня выбрали ее крестной, а это значит, что мне предстоит смотреть за ней до конца своих дней. Оказалось, и я на что-то гожусь. И я что-то умею. Я прожила у них несколько месяцев — нянчила, пеленала, почти научилась готовить, — до тех пор, пока Нина не вернулась в университет, а дочь отдала в университетские ясли на те часы, когда у нее были лекции. Я оставила им Гизеллу. С Гизеллой я поступила правильно. Та стала совсем флоридской кошкой. Она отвыкла от снега и льда. К тому же я никогда не считала ее своей, а значит, не совсем и оставила.

Главная обязанность крестной заключается в том, чтобы дарить подарки, и я их и дарю, воз-

---

[29] Примечания: 29
Бабочка *(исп.)*.

можно, даже слишком много. Каждый год в день рождения Марипозы я приезжаю к ним в гости. Больше я не боюсь зимы. И январь снова мой любимый месяц, как это и было когда-то. Сказок я надарила Марипозе множество. Она обожает сказки Эндрю Лэнга[30], с красивыми обложками, с красивыми героями. Сказки у него нелогичны и потому кажутся правдивыми. Больше всего мы с Марипозой любим «Красную книгу».

Однажды я прочла ей сказку, которую любил ее отец. Под названием «Смерть в кумовьях».

— Она совсем не смешная, — сказала Мари.

— Конечно нет, — согласилась я. — Но твой отец ее любил. Он ведь тоже был ученый, как этот врач.

— Они и не должны все быть смешными, — подумав, сказала Мари. — Расскажи мне сказку про девочку, которая забралась на такую высокую гору, на которую никто раньше не забирался.

— Я такой не знаю. Я знаю только про девочку, которая превратилась в лед.

— Тогда придумай.

Марипоза сделала строгое лицо и стала очень

[30] Примечания: 30

Эндрю Лэнг (1844–1912) — классик английской детской литературы, шотландский фольклорист и писатель, автор и составитель сказок, в том числе «Красной книги сказок».

похожа на Неда. Неда, который хорошо умел хранить тайны. Неда, который никогда не верил в непогрешимую логику. Неда, который остался в нашей жизни и *после того.*

Я не могла отказать Марипозе. Я хотела, чтобы у нее в жизни было все, в чем она нуждается. Потому я придумала для нее сказку. Сказка получилась хорошая. Намного лучше, чем та, которую я придумала себе в детстве. Она была про ту же самую девочку, про тот же самый лед. Но только девочка теперь не желала сидеть всю жизнь в холоде и вскарабкалась на самую верхушку горы. Она была умная и не собиралась сдаваться. Она поднялась наверх, а как только перебралась через гору, то начала оттаивать; она спускалась, а за ней оставался след — чистая голубая речка, вода в которой была холодной и прозрачной.

В прошлый раз, когда приехала к ним в гости, я свозила Марипозу в апельсиновую рощу. Мы с ней на весь день остались вдвоем. Нина ушла на занятия, а Марипоза, как тогда выяснилось, стала уже большая, ей исполнилось шесть лет. Как ни странно. Время летит. В машине мы пели песни, те, про которые я думала, что давно их забыла. Марипоза заставляла вспомнить про многое. Она любит слушать, как я пою, хотя голос у меня кош-

марный, и тогда я удостоилась ее аплодисментов и приняла их всерьез, как подарок. Для меня все, что исходит от нее, — подарок. В конце концов, я ее крестная. Она тоже делает мне подарки.

Доехав до места, я свернула с хайвея, припарковалась, и мы с Мари пошли прогуляться. У нее была короткая стрижка «под эльфа». Нина мне сказала, что Мари не хочет отпускать волосы и не любит, когда их расчесывают, или гладят, или заплетают.

— Умница, — сказала я.

Это я говорила про нее много раз.

— Здесь хорошо пахнет, — сказала Мари, когда мы шли по роще.

Она снова была права. Роща, проданная с аукциона, стояла в цвету. Мы шли вдоль дороги; в глубине работали люди, и мы им помахали.

— Привет! — крикнула Марипоза рабочему, подрезавшему ветки. — Ты живешь на дереве?

Я подумала про Лазаруса Джоунса, но теперь он был словно полузабытая сказка. Сказка, которую я прочла всю до конца, хотя знала, чем она закончится. Иногда ведь жизнь идет своим чередом, несмотря на теорию хаоса. Хоть влево поверни, хоть вправо, придешь к тому же и конец будет тот же. И пусть юноша, который не боялся смерти,

попал не в то место и не в то время, но, когда ему выпал шанс все изменить и измениться, он от него не отказался.

Яму засыпали щебенкой, завалили камнями. До верха еще оставалось изрядно — наверное, новый хозяин собирался насыпать туда земли. Старые деревья вокруг нее вырубили. Мне показалось, что среди ветвей мелькнул красный апельсин, но, разумеется, это был всего лишь солнечный блик.

Тайна моей матери состояла в том, что она в тот день не собиралась встречаться с подругами. Поняв это, можно было многое о ней узнать. Она не хотела, чтобы ей было тридцать. Не хотела смотреть на зиму. А я раньше очень любила январь. Снег и лед. Сверкающий, как бриллианты, прекрасный. Я любила подышать на окно в своей спаленке и написать свое имя пальцем на запотевшем стекле. Любила черное низкое небо и крупные низкие звезды. Так было раньше, до того, как я остригла волосы, заледенила сердце и обвинила себя во всем, что произошло. Тогда, в то время, я еще думала о будущем. Я его ждала.

У матери были другие планы на тот день рождения. Нед не хотел, чтобы я про них что-то поняла, и убрал со стола все, что она там поставила перед

отъездом. Спрятал, и я тогда не узнала, что она не собиралась к нам возвращаться. Хотя я, наверное, и сама что-то поняла. Может быть, прочла по ее лицу, всегда печальному, а в тот день веселому. Я не раз заставала ее в ванной, когда она плакала. Моя мать была из тех людей, кто не выносит одиночества, а она была одинокой, несмотря на нас. Ей никто не рассказывал сказку про девочку, которая поднялась на гору, куда никто раньше не поднимался. Ее тогда еще никто не придумал. У мамы больше не осталось желаний, по крайней мере тех, в какие бы она верила, так что, наверное, когда она подумала о дне рождения, сердце у нее вовсе заледенело. Все у нее в жизни пошло неправильно. Может быть, кроме нас, и, может быть, именно поэтому она оставила нам завтрак — чтобы мы не пугались и не сидели голодными. Возможно, она представления не имела, до какой степени мы будем о ней скучать. Всякий день, всякую минуту всей нашей жизни.

Я не знаю, думала ли она о нас в самые последние мгновения. О нас, о своих детях, которые сидели дома, где нам ничего не грозило. Если сердце ее и было разбито, то его разбили не мы. Но прощайте, дети. Прощай, девочка на крыльце, прощай, мальчик в окошке и летучие мыши под

крышей. Все прощайте. Прощайте. Раз — последнее мгновение, два — последнее мгновение. *До того, после того*. Небо рухнуло.

Если бы кто-нибудь мне тогда сказал, что у нее на уме, я бежала бы за ней босиком. Но ничего бы это не изменило. Решение было принято. В последний раз она о нас позаботилась, чтобы утром мы не остались голодными. Может быть, увидев обледеневшую дорогу, она подумала, что ей повезло. Может быть, это и было ее последнее желание. Хоть раз в жизни ей повезло. В жизни, которую она не дожила до конца. Может быть, я услышала это у нее в голосе, когда она наклонилась ко мне. «Все, девочка моя дорогая, все». Наверное, мне было легче винить себя, чем понять, что она нарочно ушла от нас. Я в самом деле до сих пор уверена, что, если бы она вернулась, она бы узнала меня и сейчас, она все равно бы меня узнала.

Я работаю начальницей библиографического отдела в городской библиотеке Ред-Бэнка. Я вернулась туда, где родилась. В Нью-Джерси. Я не прогуливаю работу и осторожно вожу машину. Осенью я заранее готовлюсь к зиме и меняю летнюю резину на зимнюю. Я различаю у льда тридцать два цветовых оттенка, от индиго до

алого. Возможно, его цвет зависит от состава химических реагентов, которые добавляют в соль, или от световой рекламы, просвечивающей сквозь голые кроны, а возможно, я стала более чувствительна к восприятию цвета, чем большинство людей. В нашем доме все комнаты выкрашены в оттенки красного: одна рубиновая, другая вишневая, третья алая. Кто-то не понимает разницы, но на самом деле это очень разные цвета и отличаются друг от друга не меньше, чем черное от белого. Джек говорит, я вижу то, что хочу увидеть, и слышу то, что хочу услышать. Ему видится все иначе. «Да хоть потолок покрась в красное, если тебе так нужно». Он удивился бы, если бы я на самом деле так сделала. Но он не возражает против сюрпризов. Как, например, он не возражал, когда я вернулась из Флориды, а из машины вместе со мной вылез ньюфаундленд. Фрэнсис тогда вышла на пенсию и, как и собиралась, уехала в Париж. А на кого бы еще она оставила пса.

— Ты нашла этого медведя на дороге? — спросил Джек, когда мы с Гарри вышли из машины.

— Я нашла тебя, — сказала я.

— Хочешь польстить мне, чтобы я не заметил, кого ты привезла, — рассмеялся Джек. — Он же

займет полгостиной.

На том разговор и окончился. Джек свистнул, и пес побежал за ним. Джек верил мне и в мой выбор. Гарри остался.



Лирическая история, в которой ни одно слово не является лишним. Откровенный потрясающий рассказ, от которого слезы наворачиваются на глаза.

Independent on Sunday

Элис Хоффман эротична и романтична, забавна и остроумна и всегда глубоко человечна.

The Times

Волшебно!

Sunday Times

Хоффман — неисправимая оптимистка, а опти-

мизм в наши дни в большом дефиците.
The New York Times Book Review
Тонко, интеллигентно, добросердечно.
Irish Times

Внимание!

Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.

После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.

Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.